М. П.
ЧЕХОВ

ВОКРУГ ЧЕХОВА

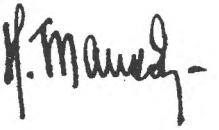
Мой дом, где была
написана „Чайка“

А. Чехов

5 май 99

ACADEMIA

А. П. Чехов в Ялте



М. П. ЧЕХОВ

ВОКРУГ ЧЕХОВА

ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И КОММЕНТАРИИ М. П. СОКОЛЬНИКОВА

ACADEMIA

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

1933

Суперобложка, переплет, фронтисписы
и заставки — гравюры на дереве
Ивана Павлова

М. П. ЧЕХОВ И ЕГО МЕМУАРЫ

Предлагаемые вниманию читателя мемуары принадлежат перу нашего современника — младшего брата Антона Павловича Чехова, первого из биографов писателя, который в вводных биографических очерках к шеститомному собранию писем Чехова сделал попытку очертить основные вехи жизни своего брата — по преимуществу на основании своих собственных воспоминаний, писем и материалов, имевшихся в распоряжении родственников писателя.

Биографические очерки М. П. Чехова, не являясь исчерпывающим собранием сведений о жизни Чехова и заключавшие в себе некоторые, правда, незначительные погрешности, явились ценным вкладом в биографическую литературу о Чехове, как последовательное изложение внешних фактов «Чехова в жизни», и во многом облегчили работу критиков и историков литературы по исследованию быта и творчества крупнейшего из писателей 80 — 90-х годов. Их широко использовал А. Измайлов в своем биографическом наброске «Чехов»; в наше время отдельные утверждения М. П. Чехова приводят в своих работах А. Б. Дерман (в книге «Творческий портрет Чехова») и В. М. Фриче — в превосходном биографическом очерке к Полному собранию сочинений А. П. Чехова (т. I, Гиз. 1930).

Если подойти с научным критерием к биографическим очеркам М. П. Чехова, мы, конечно, увидим в них нечто

семейное. Младший брат Чехова, «проживший с ним, — по собственному выражению, — почти всю его жизнь и никогда не терявший с ним связи», на глазах которого развилась [illegible] его литературная деятельность, М. П. Чехов, давая внешнее описание событий из жизни и творчества Чехова, по существу ограничился лишь задачей биографической фактографии. Что же касается изображения развития роста писателя, изменения его тематики, сюжетики и идеологического содержания произведений, обусловленного развитием его миропонимания, а также связью личности автора «Палаты № 6» и «Чайки» с эпохой, с ее определенными социально-политическими группировками, то эти стороны биографии Чехова его братом почти не затронуты; если мы и встречаем кое-где на страницах его очерков отдельные высказывания по этим моментам биографии Чехова, то это делается торопливо, без раскрытия глубины внутреннего их содержания, причем в качестве комментариев обычно приводятся выдержки из писем или личные впечатления.

Вообще надо определенно признать, что биографические очерки М. П. Чехова, являясь хорошей биографической канвой, имеют несомненную мемуарную подкладку: это — воспоминания, сжатые в форму как бы официально-справочного очерка. В них М. П. Чехов суммирует данные об основных этапах жизни Чехова под углом зрения своих непосредственных впечатлений, не прибегая к анализу многообразных документов, бывших в его распоряжении. Вот почему в своих очерках к шестому тому писем он, рассказывая о последнем периоде жизни писателя, касается его более поверхностно и обходит многие факты биографии Чехова: в годы 1900 — 1904 он жил вдалеке от Ялты и знал о жизни брата не по личным впечатлениям, а по отрывочным сведениям из писем и рассказов ближайших родственников. Эту поправку на выражение в очерках некоторых определенных

семейных взглядов на Чехова, к которым, очевидно, близка и сестра писателя Мария Павловна, так много сделавшая для увековечения памяти своего любимого брата, необходимо постоянно иметь в виду, для того чтобы выяснить место биографических очерков М. П. Чехова в чеховской литературе.

Помимо указанных очерков, М. П. Чеховым за разное время были написаны и опубликованы отдельные воспоминания о некоторых периодах жизни Чехова и окружающих его лицах. Из этих воспоминаний известны: «Об А. П. Чехове» (сборник «О Чехове», М. 1910 и «Памяти А. П. Чехова», сборник Общества любителей российской словесности, 1906); «Об А. П. Чехове» («Новое слово», книга 1, М. 1907); «Об А. П. Чехове» («Рампа и жизнь» 1912, № 28 и 29); «Антон Чехов на каникулах» («Чеховский сборник». Найденные статьи и письма. Воспоминания. Критика. Библиография. «Общество А. П. Чехова и его эпохи», М. 1929). Некоторые факты из этих воспоминаний, несомненно, вошли какой-то составной частью в биографические комментарии при письмах. Кроме того, в 1924 году М. П. Чехов выпустил неизданную пьесу Антона Павловича «Татьяна Репина» с своей вступительной статьей: «Антон Чехов. Театр, актеры и «Татьяна Репина».

Годом ранее — в 1923 году — М. П. Чехов выпускает книгу под названием «Антон Чехов и его сюжеты», имеющую также непосредственное отношение к биографии писателя. В предисловии к этому изданию он писал, что «в этой книге есть нечто новое о покойном писателе Антоне Павловиче Чехове, чего еще ни разу не было до сих пор в печати... Теперь я — единственный из всех его братьев, оставшихся в живых, уже не молод, и мне хотелось бы, чтобы то, что я знал о покойном писателе и чему лично я был свидетелем, увидело свет, пока я жив».

Разбирая означенный труд М. П. Чехова, «новый», по его утверждению, мы, однако, должны признать, что в основном он составлен из старых биографических очерков. Новыми материалами в книге М. П. Чехова явились лишь воспоминания о сюжетах произведений брата. Но в этом пункте нам придется согласиться с справедливым замечанием рецензента книги Юрия Соболева, что «понятие «сюжет» трактует М. П. Чехов несколько ограничительно: он говорит почти исключительно не о происхождении рассказа, не о генезисе его фабулы, а о тех лицах, которые послужили прототипами для Чехова». * В сущности, в этой книге М. П. Чехов рассказывает не о сюжетах как таковых в творчестве Чехова, а о прототипах персонажей отдельных чеховских произведений и тех моментах биографии Чехова, которые служили ему материалами для его рассказов и пьес. И все же, несмотря на неоправданный заголовок, новая книга М. П. Чехова давала, по утверждению того же Юрия Соболева, «до двадцати пяти указаний, позволяющих установить портретность того или иного персонажа чеховских рассказов». Особенно новы и интересны были указания М. П. Чехова на прототипы героев «Архиерея», «Супруги», «Дома с мезонином», «Певчих» и др. В целом все эти данные, безусловно, представляли полезный материал для исследователей чеховского творчества.

Предлагаемые теперь читателю «Встречи и впечатления» М. П. Чехова тоже нельзя назвать новыми и вполне оригинальными мемуарами. Большая часть публи-

* Антон Чехов и его сюжеты (О книге Мих. П. Чехова). — Юрий Соболев, «Чехов». Статьи, материалы, библиография. Изд. «Федерация», М. 1930, стр. 278—281. Первоначально это была рецензия в журнале «Печать и революция» 1923, кн. VIII.

куемых ниже страниц попрежнему содержит в себе основные биографические сведения о Чехове, уже неоднократно рассказанные его младшим братом. Однако, в отличие от предшествующих воспоминаний М. П. Чехова, эта его новая книга, имея более цельный характер, включает в себя целый ряд новых сведений и наблюдений автора о быте и окружении Чехова.

Наконец, самый план этих мемуаров гораздо шире чисто биографических воспоминаний специально о Чехове. Сам писатель, переводчик и издатель, М. П. Чехов, ставя в центре своих мемуаров пленявшую всех окружающих фигуру Чехова, большое внимание отводит быту журналов своей эпохи, системе образования и рассказывает о встречах Антона Павловича и своих с многими выдающимися людьми своего времени. Ниже мы оговорим относительность даваемых М. П. Чеховым характеристик, подчеркнув сейчас введение в его мемуары разнообразных впечатлений о театре, литературе, общественной деятельности многих окружавших Антона Павловича лиц. Кроме того, следует отметить, что настоящие мемуары М. П. Чехова являются и как бы окончательной самопроверкой и закреплением его утверждений о брате и семейной обстановке; об этом он неоднократно говорит в рассказах об отце и братьях. Да и самая мемуарная форма повествования, в отличие от биографических очерков и книги «Антон Чехов и его сюжеты», оказалась более адекватной дарованию М. П. Чехова.

В «Встречах и впечатлениях» прежде всего мы находим любопытные строки о дяде Чехова — Митрофане Егоровиче — большом оригинале, своеобразной фигуре на фоне таганрогского родственного окружения Антона Павловича. Нежное отношение к дяде Митрофану со стороны Чехова заставляет предполагать, что писатель мог выделять Митрофана Егоровича среди старших родственников; влияние этого таганрогского «благотво-

рителя» со всеми положительными и отрицательными сторонами его бытовой обстановки в какой-то мере следует учесть и проверить в развитии Чехова как личности и писателя.

Характеризуя своего отца Павла Егоровича, М. П. Чехов, в сущности, дает портретную зарисовку, знакомую по его прежним воспоминаниям. Однако в этом месте, а также в своих замечаниях о брате Александре, он старается подчеркнуть, что общий домашний быт семьи Чеховых в Таганроге был идиллическо-патриархальным, с тенденцией чуть ли не к «духовному аристократизму», как выразился М. П. в своих черновых записях мемуаров. Вдумываясь на склоне лет в жизнь отца (стр. 28 и др.), М. П., говоря о трудовом уклоне во всей семье и отмечая религиозность отца, окончательно приходит к убеждению, что «его (отца) больше занимала форма, чем увлекала вера». Зная о наличии в литературе о Чехове обратно-противоположных высказываний о Павле Егоровиче, т. е. как о человеке жестоком, прибегавшем частенько к телесному наказанию своих детей и формально строгого в обычаях, младший брат Чехова в новой своей книге не приводит совершенно таких мрачных фактов из детских и отроческих лет своих братьев. Наоборот, он здесь считает необходимым определенно заявить, что мрачные утверждения его старшего брата Александра, давшие повод опубликованием своих воспоминаний к отрицательной характеристике домашнего быта Чеховых в Таганроге, мало правдоподобны. Александр Павлович «страдал запоем, — говорит М. П. — В такие периоды он очень много писал, и то, что выходило у него во время болезни из-под пера, если попадало в печать, заставляло его сильно страдать. Так, его воспоминания о детстве Антона Чехова, о греческой школе и многое другое написаны им под влиянием болезни, и в них очень мало достоверного. Во всяком случае к тому

биографическому материалу, который напечатан им об Антоне Чехове, нужно подходить с большой осторожностью».

В этом вопросе вряд ли можно целиком согласиться с утверждениями Михаила Павловича. Во-первых, у самого Чехова имеются неоднократные высказывания о своем детстве, как «страдании». В письме к Щеглову Антон Павлович писал: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда бывало я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

Во-вторых, нельзя объяснять несправедливость суждения брата Чехова — Александра Павловича — исключительно ссылкой на писание им воспоминаний во время запоя. Ведь не надо забывать, что Александр Чехов довольно решительно перешел к самостоятельной жизни и обособился от семьи, в чем, очевидно, играла роль и бытовая обстановка; наконец, обширная и богатая по содержанию переписка с ним Антона Павловича, свидетельствующая об общности литературных интересов, наглядно показывает, что сам писатель относился с большим вниманием и чуткостью к талантливому брату и поверял ему многие задушевные свои мысли. *

* В разрешении этого вопроса, несомненно, много поможет «Переписка» братьев Александра и Антона Чеховых, печатающаяся в изд-ве «Мир».

Сопоставляя ряд материалов по вопросу о детстве братьев Чеховых, несомненно, следует признать, что и для Антона и Александра, при переезде их в Москву, вступлении на литературное поприще, по мере развития и углубления миросозерцания и расширения культурного окружения Чеховых, все яснее и резче чувствовался контраст с прошлым. Оставшееся в памяти М. П. как идиллическое, поскольку он, очевидно, более сросся с домашней обстановкой, Антону Павловичу детство рисуется уже в более суровых очертаниях; осмысливая отдельные моменты своего домашнего и школьного воспитания, он, сделавший такой огромный скачок в своем внутреннем развитии за годы одиночного пребывания в последних классах гимназии и первые годы московской жизни, был прав в признании многих задерживавших и искривлявших его начал детства.

Мы отнюдь не хотим здесь заявить, что надо полностью заподозрить высказывания М. П. Чехова по этому вопросу; сгущать черные краски о детстве Чехова у нас нет никаких оснований: беспросветным чеховское детство назвать нельзя; чего стоят, напр., заботы и ласки его матери, близкое и участливое общение с братьями и сестрой, наконец вся общая атмосфера дружной чеховской семьи, которая позднее особенно чувствовалась всеми в Москве. Воспоминания М. П. как раз и оттеняют эти стороны быта Чеховых, не раскрывая других. Что же касается облика отца, то, признавая неполность характеристики, данной М. П., надо все же отметить, что настоящие мемуары М. П. Чехова позволяют установить безусловную артистичность и подвижность Павла Егоровича: рассказы М. П. о «закладе» дома и «бегстве» в Москву, а также отдача торговли на присмотр детей, при одновременном увлечении музыкой, пением, живописью и чтением газет, свидетельствуют наглядно, что отец Чеховых был торговцем не по призванию.

Если мы признаем, что, несмотря на многие положительные стороны в таганрогской жизни Чехова, его бытие протекало все же в обстановке «низменных форм борьбы за существование, в атмосфере бездушной, формальной и тщеславной религиозности», * в косности патриархальных форм быта, под суровой эгидой отеческого попечения, то его московскую жизнь первого периода следует характеризовать как упорную, тяжелую борьбу по поднятию материального благополучия всей семьи. Мемуары М. П. Чехова в этом вопросе проливают достаточно ясный свет. Центральной фигурой в доме становится Антон. Отец с трудом устроен на работу; младшие брат и сестра учатся; мать в вечных хлопотах по хозяйству. Добившись в Таганроге стипендии, Антон привозит с собой в Москву нахлебников. Его учеба проходит в условиях непрестанных забот о всех домашних; за три года семья Чеховых меняет двенадцать квартир; литературные занятия Антона в мелких сатирических журнальчиках ставят первой целью заработок на существование. Постоянная скученность, борьба с бедностью при одновременной учебе и литературных занятиях, — и осознание своего писательского призвания, огромный внутренний рост. Такая обстановка, конечно, являлась задерживающей осмысливание путей творческого развития Чехова; она серьезно сказывалась и на его здоровье. В отличие от многих писателей разночинцев (Левитова, Ник. Успенского и др.), Чехов не растерялся в борьбе с суровыми условиями жизни и смело их преодолел.

М. П. Чехов, рассказывая о первом периоде московской жизни Антона Павловича, останавливается на работе братьев Чеховых в различных журналах. Мы здесь находим зарисовки издателей и сотрудников «Зрителя»,

* Выражение А. Б. Дермана. «Творческий портрет Чехова».

«Будильника», «Москвы», «Мирского толка» и др. К сожалению, эти зарисовки говорят по преимуществу о внешней характеристике и, давая не мало фактических справок, дат и имен (хотя в общем и известных), они все же глубоко не раскрывают конкретного содержания и направления означенных журналов. Однако приводимые М. П. Чеховым сведения позволяют признать безусловную мелкотравчатость, ставку на обывательские вкусы, пестроту направлений и подбора сотрудников сатирических журналов той эпохи, представлявшей, по сравнению, напр., с «Искрой» 60-х годов, картину резкого понижения журнальной сатирической литературы. Журналы велись до нелепости кустарно, многие из них оказывались поденками, — и лишь «Будильник» да пушкаревские начинания выделялись на этом фоне. Сжатая тисками жестокой цензуры, русская юмористическо-сатирическая литература в эпоху 80-х годов являла собой картину постепенного принижения социально-политической литературной струи; за это время мы замечаем, в связи с развитием спроса, хищнические попытки выпуска отдельными предпринимателями как бы массовых изданий в мелкобуржуазном и обывательско-мещанском вкусе.

В страницах, отведенных М. П. Чеховым воскресенскому периоду — жизни Чехова в Бабкине, Чикине и Звенигороде, а также быту писателя на Луке, в Богимове и Мелихове, — самое интересное — встречи Чехова. Они позволяют исследователю уточнить чеховское окружение и провести в нем соответствующее деление. В этом отношении воспоминания М. П. дают не мало отдельных любопытных черт в характеристиках и отношениях Чехова с отдельными писателями, деятелями театра, науки и искусства. Если в первых главах своих мемуаров М. П. попутно рассказывает о Павловском, Попудогло, Евстигнееве и других, то здесь встречи следуют одна за дру-

гой. Тут — и Скрябин, и Чайковский, и Лейкин, звенигородские и серпуховские врачи и земские деятели, Бегичев и Киселев, Григорович, Маркевич, Левитан, Баранцевич, Плещеев, артист Свободин, Корш, Виктор Крылов, Иван Щеглов, Невежин, Давыдов, Ленский, Лесков, Щепкина-Куперник, П. Н. Островский, Потапенко, Меньшиков и т. д. Попутно с этим мы видим и работу Чехова над некоторыми своими произведениями, особенно пьесами («Леший», «Иванов», «Чайка»).

По поводу этих характеристик М. П. Чехова нам тоже необходимо сделать оговорку. Запечатлевая отдельные, главным образом все же внешние черты, М. П. зачастую проходит мимо внутренней и социально-групповой сущности взаимоотношений Чехова с своими друзьями и знакомыми. Как близкий наблюдатель всех этих встреч, он, казалось, мог бы дать многие существенные комментарии по поводу чеховского окружения. Однако его характеристики больше ограничиваются терминами «милый», «любезный», «очень симпатичный», «внимательный» и т. п. Здесь, несомненно, сказалась собственная общественная психология автора мемуаров.

М. П. Чехов — по образованию юрист; по окончании университета служил на государственной службе, затем у Суворина. Был он также помощником присяжного поверенного, издавал журнал «Золотое детство», писал рассказы (под псевдонимом М. Богемский и др.), составившие несколько сборников, много переводил. Вспоминая о вечеринках у чикинского врача Архангельского, «на которых, — по признанию М. П., — говорилось много либерального» и пелись хором народные песни, он пишет в настоящих мемуарах, что «эти вечеринки были для меня школой, где я получил политическое и общественное воспитание и где крепко и н а в с е г д а (подчеркнуто нами. *М. С.)* сформировались мои убеждения, как человека и гражданина». Эти слова достаточно

ясно определяют М. П. Не связанный с общественным движением, он свои впечатления от встреч Чехова передает как бы в семейно-внесословном плане, сдабривая свои характеристики подчас общелиберальными рассуждениями и обывательскими оценками. А ведь все эти встречи чрезвычайно важны для характеристики слагавшегося мировоззрения Чехова, представлявшего собою — по определению В. М. Фриче — «интеллигенцию мещанства, мещанскую интеллигенцию, пережившую идейно-психологически эволюцию от подчинения усадебной идеологии периода распада дворянско-помещичьего уклада в сторону приспособления к рождавшемуся из хаоса этого распада буржуазному строю жизни».

Однако даже при таком положении очень многие страницы, где М. П. рассказывается о связи Чехова с отдельными лицами, дают не мало интересного материала для характеристики «влияний» на чеховское творчество. Беседы с зоологом Вагнером, поездка А. П. в Воронеж на голод и унизительный объезд местных тузов, дружба с Свободиным, встречи с Чайковским, близкие отношения с Потапенко и Баранцевичем, не говоря уже о Суворине, связь по земским делам с многими общественными деятелями подмосковных уездов — все это заставляет самым внимательным образом остановиться в чеховской биографии. Бледными выглядят у М. П. страницы о ялтинском периоде жизни Чехова и его пребываниях за границей; в старом виде дана и глава «Поездка на Сахалин».

Следует еще остановиться на некоторых моментах историй создания Чеховым отдельных своих произведений и их прототипах, о которых рассказывает М. П. в своих мемуарах. Не говоря уже о том, что М. П. несколько упрощает творческий процесс Антона Павловича над «Лешим» и «Иванóвым» (об этом см. наши примечания к соответствующим главам настоящих мемуа-

ров), нам кажется, что он не совсем прав и в вопросе о прототипах «Чайки». Воспоминания Т. Л. Щепкиной-Куперник, проведшей лето вместе с С. П. Кувшинниковой и Левитаном в имении недалеко от Вышнего Волочка и Мсты, довольно объективно и ясно рисуют трагедию сложных взаимоотношений Левитана и С. П. в связи с победой «петербургской львицы»; об этом наглядно свидетельствуют и приводимые Щепкиной-Куперник отрывки из писем Левитана. На основании этих данных мы в праве говорить об участии в эпизоде с чайкой Кувшинниковой. Кроме того, на интерпретации «Чайки» сказалась и личная история Чехова, Мизиновой и Потапенко; но это уже специальная тема.

В своих мемуарах, помимо рассказов о жизни Антона Павловича и его семьи, младший брат писателя отводит некоторые страницы воспоминаниям о своем учении, давая характеристику «деляновских» преподавателей и тогдашних методов учебы, а также говорит об отдельных впечатлениях своей жизни (напр., театральные торжества в Ярославле в 1900 году и пребывание на юбилее Трефолева). Если рассказы об учебе в целом любопытны, то описания ярославских встреч М. П. даны поверхностно и особого интереса не представляют; очень слаба и примитивна характеристика Трефолева и его юбилея.

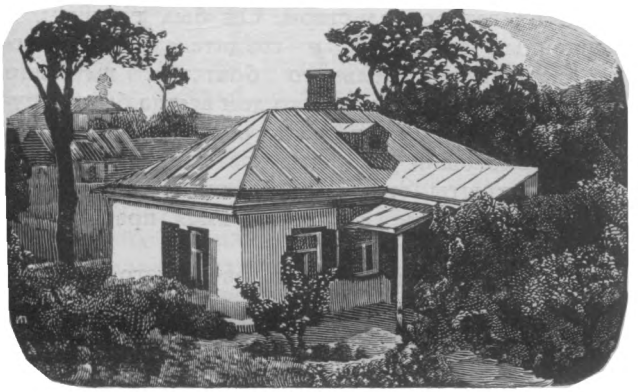
Несмотря на стремление М. П. расширить рамки своей книги и несколько выйти из круга чисто чеховских мемуаров, все же центральной фигурой его воспоминаний остается Чехов, вокруг которого он и нанизывает свои «встречи и впечатления». В этом—и их значение и смысл появления. Кое-где память иногда изменяет брату Чехова — особенно в датах, именах, выдержках отдельных стихотворений, выражений и т. п. Все такие места оговорены в комментариях с ссылкой на соответствующие материалы (напр., послание Пальмина, стих. «Как

дым мечтательной сигары» и т. д.). Кроме того, чтобы более рельефно оттенить некоторые высказывания и утверждения М. П. Чехова, в комментарии введены также и сопутствующие историко-литературные, библиографические и мемуарные материалы, позволяющие сделать определенные выводы (как, напр., ссылки на чрезвычайно ценное описание чеховской библиотеки, сделанное С. Д. Балухатым, и мн. др.).

Несмотря на отмеченные выше недостатки, мемуары М. П. Чехова, объединенные личностью крупнейшего писателя 80 — 90-х годов, безусловно представляют известный интерес в чеховской литературе. В литературном наследстве прошлого Чехов — слишком большое явление, чтобы можно было пройти мимо разнообразных сторон его жизни и творчества, которые дают нам настоящие воспоминания его младшего брата.

М. П. Сокольников

ВОКРУГ ЧЕХОВА



I

Наш дядя Митрофан Егорович. — Случай в дворцовом парке. — Протоиерей Покровский и водевиль с болгарской звездой. — Отец Павел Егорович. — Деды и прадеды по отцовской и материнской линии. — Легенда дяди Митрофана о нашем «чешском» происхождении. — Бомбардировка Таганрога английской эскадрой. — Братья Александр (литератор А. Седой) и Николай (художник).

Одни считали нашего дядю Митрофана Егоровича [1] чудаком, оригиналом и даже юродивым, другие относились к нему с уважением, а мой брат, писатель Антон Чехов, даже с нежной любовью. Человек этот посвятил всю свою жизнь общественным делам и, отдавшись им целиком, умер от истощения, ибо работал через меру. Правда, «общественные дела» 50 — 60 лет тому назад были совсем не похожи на теперешние; то, что делал дядя Митрофан, было прежде

всего благотворительством. Он был гласным, и церковным старостой, и создателем Таганрогского благотворительного братства, имевшего целью помочь бедным. Его дом всегда был доступен для бедняков; в день его именин ворота этого дома были раскрыты настежь; среди двора были накрыты столы, уставленные пирогами и разными яствами, и каждый имел право войти и усесться за еду.

Это был богомольный человек, устраивавший у себя на дому целые молебствия и в то же время любивший бывать в театре и смеявшийся до слез на веселых комедиях и водевилях вроде «Маменькиного сынка» и «Беды от нежного сердца». Он ходил всегда изысканно одетым и в цилиндре, его дом внешне представлял собой полную чашу. Его деятельность начиналась с рассветом и кончалась поздно вечером, и только один воскресный день он проводил в полном покое, весь целиком уходя в чтение книг и газет и в разговоры с детьми. Он обожал своих детей, говорил с ними на «вы» и ласкал их так, что нам, его племянникам, становилось завидно. Когда мы были мальчиками и затевали какое-нибудь представление, в котором будущий писатель Антон Чехов, тогда еще гимназист, принимал деятельное участие, то дядя Митрофан всегда был нашим гостем и ценителем. Это был человек не без литературного дарования, и его письма, которые, уже взрослыми, мы получали от него, всегда по части слога и поэтических приемов были безукоризненны. В молодости он был большим романтиком, увлекался сочинениями А. Марлинского (Бестужева) и на всю жизнь усвоил его манеру выражаться. В нашей

семье долго хранились его письма, переплетенные в целую книгу, которые он писал, еще будучи холостым, моим родителям, когда совершал путешествие по России, — и я твердо уверен, что литературное дарование дяди Митрофана в известной степени передалось от него и нам, и в особенности моим братьям Антону и Александру, которые сделались потом настоящими литераторами.

В жизни Митрофана Егоровича интересными страницами прошла история его любви и женитьбы. В канцелярии таганрогского градоначальника служил некто Евтушевский. У него была дочь Людмила, которую все звали Милечкой. Эта Милечка была поразительно похожа на дочь герцога Гессен-Дармштадтского Максимилиану, которая вышла потом замуж за тогдашнего наследника Александра Николаевича и приняла имя Марии Александровны. Увидев однажды в какой-то иллюстрации ее портрет, дядя Митрофан Егорович полюбил ее как женщину с первого же взгляда. Эту свою симпатию он перенес на Милечку и сделал ей предложение. Она отказала ему. Тогда, романтик до мозга костей, он исчез из города. О том, что он отправился путешествовать, узнали только из писем, которые стали получаться от него с дороги.

О трудностях тогдашнего путешествия можно судить уже по тому, что между Таганрогом и Харьковом, на пространстве целых 470 верст, в то время не было ни одного города, и по пути можно было встретить разве только одних чумаков. Ночевать приходилось часто под открытым небом, прямо среди безграничной степи.

Тогда это были все «новые места», описанные Данилевским[2] в его романе такого же заглавия, с раздольем, разбойниками и рассказами о таинственных приключениях, в которых была замешана нечистая сила. Железных дорог не существовало, и когда наш отец ехал в Харьков за товаром, то, отправляя его, служили молебен. Одна только Николаевская железная (ныне Октябрьская) дорога находилась еще в постройке и в описываемое мною время действовала только на головных участках, причем расстояние от Москвы до Твери (157 верст) поезд покрывал в полуторы суток. И это считалось тогда верхом удобства и быстроты.

Письма дяди были полны глубокого интереса. Все в том же стиле Марлинского он описывал свою поездку в Москву и в Петербург и свои впечатления от путешествия по первой тогда железной дороге. Письмо же о посещении им Царского (ныне Детского) Села побило рекорд и сразу выявило всю тайную цель такого путешествия.

Войдя в дворцовый парк, дядя остановился в ожидании, не удастся ли ему увидеть ту, на которую походила его возлюбленная. И вдруг — неожиданность: он увидел направлявшуюся к нему пару. Это шел Александр II под руку со своей женой, бывшей принцессой Максимилианой. Они приближались прямо к нему. Дядя опустился на колени. Думая, что это какой-нибудь проситель, Александр II нагнулся к нему и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне ничего не нужно, государь, — ответил ему дядя. — Я счастлив только тем, что уви-

дел ту, на которую похожа любимая мною девушка.

Максимилиана, вероятно, не поняла его слов, а Александр приподнял его, похлопал по плечу, — и они пошли далее.

В этой сцене, конечно, много наивного, но в ту пору, в особенности на окраине, на далеком юге, она должна была произвести известное впечатление. Так, по крайней мере, писал романтик дядя, может быть, в значительной степени и прикрасивший в письме историю встречи в дворцовом парке.

Вот почему, когда Митрофан Ег̀орович вернулся потом на родину, то у Милечки не нашлось уже больше никаких возражений против выхода за него замуж. Они зажили вдвоем, состарились, и в их уютном, гостеприимном домике мы, племянники, всегда находили родственный прием; позднее, поселившись на севере, при каждом нашем наезде в Таганрог мы любили останавливаться у дяди Митрофана. В этом именно домике и схвачены Антоном Чеховым некоторые моменты, разработанные им впоследствии в таких рассказах, как, например, «У предводительши». Мне кажется, что дядя Митрофан пописывал и сам, потому что, когда мне было уже 25 лет, он затеял со мной переписку и целыми страницами присылал мне выдержки из описаний природы: «цветочков в монастырской ограде на монашеских могилках», «ручейков», игриво протекавших по «росистому лугу», и так далее. Все это были выдержки, в которых по слогу и по манере письма можно было легко догадаться, что он был их настоящим автором.

Как я упомянул, дядя Митрофан был церковным старостой, и по своему характеру, и по должности он любил принимать у себя духовенство. Желанным гостем у него был всегда протоиерей Ф. П. Покровский. Это был своеобразный священник. Красавец собой, светский, любивший щегольнуть и своей ученостью, и своей нарядной рясой, он обладал превосходным сильным баритоном и готовил себя ранее в оперные певцы. Но та обстановка, в которой он жил, помешала развить его дарования, и ему пришлось ограничиться местом настоятеля Таганрогского собора. Но и здесь он держал себя как артист. Он эффектно служил и пел в алтаре так, что его голос покрывал собой пение хора и отдавался во всех закоулках обширного собора. Слушая его, действительно казалось, что находишься в опере. Он был законоучителем в местной гимназии. Нас тогда училось в ней пять братьев; я — в первом классе, брат Антон — в пятом. Никто из нас никогда не слышал от Покровского вопросов. Он вызывал, углублялся в газету, не слушал, что отвечал ему ученик, и ставил стереотипное три. Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. Уже будучи взрослым, брат Антон рассказывал не раз, как Покровский в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение:

— Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра.

Он любил давать своим ученикам насмешливые имена. Между прочим, это он, Покровский,

первый назвал Антона Чехова «Антошей Чехонте», чем и воспользовался писатель для своего псевдонима.

Своеобразная привязанность Антона Чехова к Покровскому сказалась впоследствии в следующем анекдотическом факте. Антон Чехов был уже известным писателем, когда назревал водевиль в наших взаимоотношениях с Болгарией. Дело в том, что после предоставления Болгарии самостоятельности и неожиданного выбора болгарами в князья Фердинанда Кобургского русское самодержавие было оскорблено вольными и дерзкими поступками «спасенного» и опекаемого им «славянского народа». Лишь с течением времени, и то с большим трудом, Фердинанду удалось наладить нормальные взаимоотношения с Россией. В ознаменование этого события и в целях обработки общественного мнения были пущены в ход специальные «болгарские ордена» для награждения деятелей печати и разных выдающихся лиц. Чехов гостил в Петербурге, когда один из русских дипломатов, взявший на себя посредничество между Фердинандом и русским общественным мнением, обратился к нему с просьбой указать на когонибудь из своих знакомых. Брат Антон в это время вместе с петербургским адвокатом Коломниным, тоже окончившим курс в таганрогской гимназии, посылал протоиерею Покровскому в подарок серебряный подстаканник. Он тотчас же вспомнил о Покровском и назвал дипломату его фамилию.

Протоиерей неожиданно получил болгарскую звезду и, в умилении от подстаканника и звезды, будучи уже в преклонном возрасте, благодарил

брата Антона и просил выслать ему свои сочинения.

— Поброунсекарствуйте старику, — писал он (от слов «Броун-Секар» — изобретатель омолаживающей жидкости).

Антон Павлович распорядился о высылке ему «Пестрых рассказов», на заглавном листе которых стояло «А. Чехонте».

Предсказание старика таким образом не сбылось. Из Антона все-таки вышел толк, но выдуманный Покровским псевдоним стал достоянием русской литературы.

То, что нас было в семье шестеро человек детей, — пять братьев и одна сестра, — и все мы были гимназистами, придавало нашей семье бо̀льшую светскость и интеллигентность, чем это чувствовалось у дяди Митрофана. Правда, и наш отец, Павел Егорович, любил помолиться, но, сколько думаю даже теперь, сколько вдумываюсь в его жизнь, его больше занимала форма, чем увлекала вера. Он любил церковные службы, простаивал их от начала до конца, но церковь служила для него, так сказать, клубом, где он мог встретиться со знакомыми и увидеть на определенном месте икону именно такого-то святого, а не другого. Он устраивал домашние богомоления, причем мы, его дети, составляли хор, а он разыгрывал роль священника. Но во всем остальном он был таким же маловером, как и мы грешные, и с головой уходил в мирские дела. Он пел, играл на скрипке, ходил в цилиндре, весь день пасхи и рождества делал визиты и страстно любил газеты, выписывал их с первых же дней своей самостоятельности, начиная с «Северной пчелы» и кончая «Сыном оте-

чества». Он бережно хранил каждый номер и в конце года связывал целый комплект веревкой и ставил под прилавок. Газеты он читал всегда вслух и от доски до доски, любил поговорить о политике и о действиях местного градоначальника. Я никогда не видал его не в крахмальном белье. Даже во времена тяжкой бедности, которая постигла его потом, он всегда был в накрахмаленной сорочке, которую приготовляла для него моя сестра, чистенький и аккуратный, не допускавший ни малейшего пятнышка на своей одежде.

Петь и играть на скрипке, и непременно по нотам, с соблюдением всех адажио и модерато, было его призванием. Для удовлетворения этой страсти он составлял хоры из нас, своих детей, и из посторонних, выступал и дома, и публично, и часто, в угоду ей, забывал о кормившем его деле и, кажется, благодаря этому, потом и разорился. Он был одарен также и художественным талантом: между прочим, одна из его картин, «Иоанн Богослов», находится ныне в Чеховском музее в Ялте. Отец долгое время служил по городским выборам, не пропускал ни одного чествования, ни одного публичного обеда, на котором собирались все местные деятели, и любил пофилософствовать. В то время как дядя Митрофан читал одни только книги высокого содержания, отец вслух перечитывал французские бульварные романы, иногда, впрочем, занятый своими мыслями, так невнимательно, что останавливался среди чтения и обращался к слушавшей его нашей матери:

— Так ты, Евочка, расскажи мне, о чем я сейчас прочитал.

Я не знаю, кто был наш прадед с отцовской стороны Михаил Емельянович. Со слов отца мне известно, что у прадеда был брат Петр Емельянович, который по какому-то случаю собирал на построение храма, исходил всю Россию пешком вдоль и поперек и действительно выстроил церковь в Киеве. Наша семейная хронология застает нашего деда Егора Михайловича в с. Ольховатке Воронежской губернии Острогожского уезда уже женатым, имеющим трех сыновей и дочь. Все они — крепостные помещика Черткова, внук которого [3] впоследствии был ближайшим единомышленником Льва Толстого. Ненасытная жажда свободы заставила нашего деда выкупиться на волю еще задолго до всеобщего освобождения крестьян. На выкуп дочери Александры у него денег нехватило, и, прощаясь с помещиком, он убедительно просил его не продавать ее на сторону, а подождать, пока у него будут деньги и он сможет выкупить и ее. Чертков подумал, махнул рукой и сказал:

— Так уж и быть, бери ее в придачу.

И стала таким образом свободной и моя тетушка Александра Егоровна.

То, что мои прадед и дед носили у себя в Ольховатке прозвище «Чехи», а не Чеховы, и то, что они всегда алчно стремились к свободе, заставило моего дядю, романтика Митрофана Егоровича, верить в следующую выдумку, которою он неоднократно делился со мной.

— Несомненно, что наш предок был чех, родом из Богемии, бежавший вследствие религиозных притеснений в Россию. Здесь он, естественно, должен был искать покровительства кого-нибудь из сильных людей, которые его и закрепо-

стили впоследствии, или же, женившись на крепостной, он тем самым закрепостил и прижитых от нее своих детей, сам, по своей воле, или же в силу требований закона.

При этом романтик-дядя прибавлял:

— Я так думаю, душенька, что простому крестьянину бежать из своей родины незачем и даже почти совсем невозможно. Наверное это был какой-нибудь особо знатный человек.

С этим легендарным предположением дядя Митрофан и умер, а мы, его племянники, только улыбались, так как к нашим услугам имелась еще и другая, более документальная версия: Царь-Пушку, находящуюся в Кремле в Москве, отлил в 1586 году литейный мастер Андрей Чехов. Но значило ли это, что наши предки происходили от него?

Дед отдал своего старшего сына Михаила в Калугу в ученье к переплетному мастеру, а сам поступил в управляющие к графу Платову, в его необъятные имения под Таганрогом и Ростовом на Дону, куда и переехал вместе со своими двумя другими сыновьями, Павлом и Митрофаном. Дочь Александра тогда же была выдана замуж в Ольховатке и осталась там навсегда. Таким образом мой отец и дядя оказались на дальнем юге у побережья Азовского моря. Отец был отдан в приказчики к таганрогскому купцу и городскому голове Кобылину, дядя — в Ростов к купцу Байдалакову. Впоследствии дядя тоже переселился в Таганрог. Пробыв у Кобылина требуемое количество лет, Павел Егорович открыл потом свой собственный колониальный магазин и женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, нашей дорогой незабвенной матери.

Мы не знаем, кто был нашим прадедом по матери. Наш дед, Яков Герасимович Морозов, жил в Моршанске Тамбовской губернии, где и женился на Александре Ивановне, нашей бабушке. От этого брака у них было трое детей: две дочери: Феничка и Евочка (наша мать) и сын Иван (наш дядя Ваня). Яков Герасимович вел большую торговлю сукнами, знался с французами, которые называли его «мосье Морозоф», и по своим торговым делам часто надолго уезжал из Моршанска. Между прочим, он заезжал и в Таганрог, игравший тогда роль столицы, где останавливался в доме генерала Папкова, граничившем с садом дворца Александра I. У нашей бабушки, Александры Ивановны, была сестра, Мария Ивановна, которая была выдана замуж в г. Шую, Владимирской губернии, в семью старообрядца. В одну из таких отлучек мужа по его суконным делам Александра Ивановна забрала своих девочек и сына и отправилась погостить с ними к сестре в Шую. В это время случилась холера, и наш дед, Яков Герасимович, умер от нее в Новочеркасске, далеко от дома и от родных. По всей вероятности, после него остались там суконные товары и кое-какие деньги. Тогда наша бабушка, Александра Ивановна, забрала своих детей, наняла тарантас и отправилась с ними через всю Россию на лошадях из Шуи в Новочеркасск отыскивать могилу своего мужа.

Это путешествие оставило глубокий неизгладимый след в душах моей матери и ее сестры. Дремучие леса, постоялые дворы с запертыми, точно в остроге, воротами и с убийствами и ограблениями проезжих купцов; всевозможные

встречи, наконец — раздолье и свобода приазовских степей, где не нужно было останавливаться в подозрительных постоялых дворах, а ночевали прямо под открытым небом, на лоне природы, не боясь ни лихих людей, ни нападений,— все это послужило потом для нашей матери и тети Фенички неистощимыми темами для семейных повествований, когда мы были маленькими и слушали их, затаив дыхание и широко раскрыв глаза. Тетка и мать были впечатлительными, чуткими созданиями, умели прекрасно рассказывать, и я уверен, что в развитии фантазии и литературного чутья в моих братьях эти их повествования сыграли выдающуюся роль.

Александра Ивановна с детьми не нашла в Новочеркасске ни могилки мужа, ни каких-либо вещественных после него воспоминаний. Она уже не вернулась к себе обратно в Моршанск, а поехала далее, в Таганрог, остановившись по пути в Ростове на Дону, где пристроила на службу по торговой части своего сына Ивана у купца Байдалакова.

Здесь наш дядя Ваня встретился с братом нашего отца, Митрофашей, который, как я сказал, тоже служил тогда у Байдалакова. Оба большие мечтатели, они скоро сдружились и оставались друзьями до самой кончины дяди Вани, умершего от чахотки.

Александра Ивановна приехала с двумя девочками в Таганрог и поселилась в нем навсегда в доме генерала Папкова, где ранее живал ее муж.

Время шло, и Митрофан и дядя Ваня стали уже молодыми людьми. Митрофаша переехал из

Ростова в Таганрог, открыл здесь свою собственную торговлю и вслед за ним переехал туда же, к матери и сестрам, и дядя Ваня. Через него-то и Митрофашу наш отец и познакомился с семьей Морозовых и женился затем на младшей дочери Александры Ивановны — Евгении Яковлевне. Артист в душе, музыкант на всех инструментах, художник и полиглот,[4] дядя Ваня женился на Марфе Ивановне Лобода, нашей любимой тете, а о Митрофаше и его сватовстве на Милечке я сообщил уже в начале этих записок.

Мой отец женился на моей матери 26 октября 1854 года, в то самое время, когда только что начиналась севастопольская война. Повидимому, первый год своей брачной жизни он прожил у тещи, так как родители мои любили рассказывать о том, как англичане бомбардировали в 1855 году летом Таганрог и какой переполох это произвело в их общей семье, из чего можно думать, что Чеховы и Морозовы жили в то время вместе. Летом, под Казанскую, наша бабушка Александра Ивановна была во всенощной в соборе. Служил отец Алексей Шарков. Вдруг бомба ударила в стену, и все в церкви задрожало. Посыпалась штукатурка. Публика испугалась и сгрудилась в кучку. Отец Алексей, у которого от страха затряслись руки, державшие книжку, продолжал читать шестопсалмие. Но когда служба кончилась, и прихожане вышли со страхом из церкви, то английские суда, с которых последовал выстрел, уже ушли и только белелись на горизонте.

Затем они не показывались вплоть до самого 26 июля. Накануне этого дня, вечером, к нашей

бабушке Александре Ивановне пришел о. Алексей Шарков и предупредил ее, что на горизонте опять появились белые корабли. Он сам влезал на соборную колокольню и видел их оттуда стоящими на рейде. Он советовал ей увезти на всякий случай из города мою мать, которая в то время была беременна моим старшим братом Александром. На следующий день было воскресенье, и мой отец и дядя Ваня отправились к обедне. Когда после ее окончания они взошли на «валы», то есть на самый край высокого берега над морем, то действительно увидели прямо перед собой английскую эскадру. Они стали с любопытством рассматривать диковинные суда, из труб которых клубился дым, как вдруг с них раздался залп. Мой отец от страха покатился вниз, а дядя Ваня со всех ног пустился бежать домой. На дворе, у входа, прямо на воздухе, грелся самовар. Александра Ивановна только что поставила вариться суп из курицы. Моя мать лежала. В это время бомбы уже летали через весь город, и тогдашние хулиганы стали врываться в дома и разбивать зеркала и ломать мебель, чтобы ничто не досталось неприятелям. Дядя Ваня схватил кипевший самовар и стал его вытряхивать. Встревоженные женщины не знали, что им делать. Как раз к этому времени подоспел мой отец, прихватив по дороге деревенскую подводу. На нее усадили тещу, мою беременную мать и Феничку, и, бросив все, женщины выехали в деревню. Сидя на телеге и слыша отдаленные выстрелы, Александра Ивановна то-и-дело вздыхала:

— Курица-то, курица-то моя там в печи перепарится...

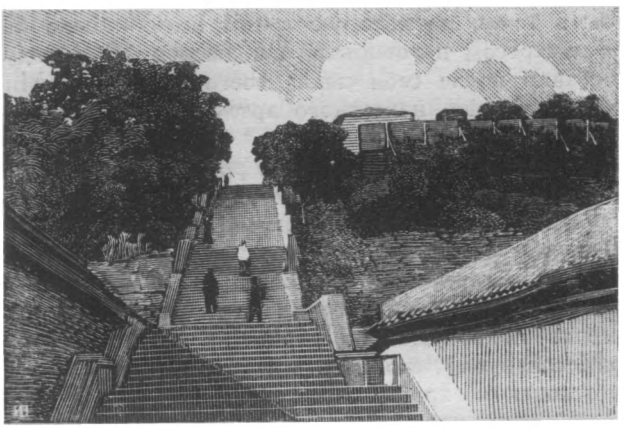
Доехали до слободы Крепкой, за 60 верст от Таганрога, остановились у местного священника о. Китайского и там 10 августа 1855 года моя мать Евгения Яковлевна разрешилась от бремени первенцем-сыном Александром.

Это был впоследствии интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, сострадательный, изумительный лингвист и своеобразный философ. Он был литератором и писал под псевдонимом «А. Седой».[5] Благодаря своим всесторонним познаниям он вел в газетах отчеты об ученых заседаниях, и сами лекторы специально обращались перед своими выступлениями к редакторам газет, чтобы в качестве корреспондента они командировали к ним именно моего старшего брата Александра. Известный А. Ф. Кони и многие профессора и деятели науки часто не начинали своих лекций, дожидаясь его прихода. Но точно в подтверждение того, что он родился в такие тревожные дни, — так сказать, под выстрелами неприятеля, — он страдал запоем и сильно и подолгу пил. В такие периоды он очень много писал, и то, что выходило у него во время болезни из-под пера, если попадало в печать, заставляло его потом сильно страдать. Так, его воспоминания о детстве Антона Чехова, о греческой школе и многое другое, написаны им под влиянием болезни, и в них очень мало достоверного. Во всяком случае к тому биографическому материалу, который напечатан им об Антоне Чехове, нужно подходить с большой осторожностью. Но когда он выздоравливал, когда он опять становился настоящим, милым, увлекательным Александром, то его нельзя было наслушаться: это

была одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить. Он умер в 1913 году, оставив после себя сына, моего крестника Михаила Чехова, известного артиста Художественного театра.

В мае 1857 года у моих родителей появился на свет их второй сын, будущий художник Николай.[6] Это также был высокоодаренный человек, превосходный музыкант на скрипке и на рояле и серьезный художник и оригинальный карикатурист. Он выступал на выставках с огромными полотнами («Гулянье в Сокольниках», «Мессалина»), его работы находились в бывшем московском храме Христа-Спасителя. О том, как легки, изящны и остроумны были его рисунки и карикатуры, могут свидетельствовать кое-какие остатки, собранные в московском Чеховском музее, а также картина и две-три акварели, находящиеся в ялтинском доме писателя А. П. Чехова. Он умер в самом расцвете лет, тридцати одного года от роду, и теперь мирно почивает на Лучанском кладбище, близ города Сум Харьковской губернии.

17 января 1860 года родился Антон Чехов, будущий знаменитый писатель, а годом позже — брат Иван, известный московский педагог. Затем появились на свет моя сестра Мария Павловна и я.



II

В Таганроге. — Наши соседи. — Экзекуции на Митрофаньевской площади. — Похищение девушек для турецких гаремов. — Антоша и Ираида Савич. — Переезд в собственный дом. — Наше образование. — Неудачное учение в греческой школе. — Домашние досуги. — Как шла торговля у отца. — Путешествие в Криничку. — Домашние спектакли. — Болезнь Антоши. — Отъезд старших братьев в Москву. — Отнятие дома. — Антон один в Таганроге. — Поездки в имения Кравцова и Зембулатова. — Посещения театра. — Чтение. — Издание рукописного журнала «Заика». — Эпизод у одинокого колодца по рассказу Суворина.

В то время, когда я стал сознательно относиться к окружающему и уже научился около братьев сам читать вывески, старший брат Александр был в пятом классе гимназии, а три других — Николай, Антон и Иван следовали за

ним двумя классами ниже в нисходящей арифметической прогрессии. Тогда мы жили в доме Моисеева на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка, почти на самом краю города. Мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками. Внизу помещались магазин нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты, а наверху обитало все наше семейство и были еще жильцы: некий Гавриил Парфентьевич, столовавшийся у нас же (о нем будет речь впереди), и гимназист восьмого класса Иван Яковлевич Павловский.[1] Этот Павловский уехал затем в Петербург, где поступил в Медицинскую академию, но вскоре же был арестован, судим по известному процессу 193-х и заключен в Петропавловскую крепость. При депортации[2] в Сибирь он бежал в Америку, где некоторое время был парикмахером в Нью-Йорке, о чем директор таганрогской гимназии, которому Павловский оттуда писал, рассказывал своим питомцам с чувством горького разочарования в человеке. Из Америки Павловский переселился в Париж, где в одной из местных газет напечатал статью о своем пребывании в Петропавловской крепости. Статья эта обратила на себя внимание жившего тогда в Париже Тургенева, который и принял Павловского под свое покровительство. С его легкой руки Павловский стал писать и на французском и на русском языках, и скоро сделался видным литератором. Писал он под псевдонимом И. Яковлев и был деятельным сотрудником «Нового времени», где вел постоянные парижские фельетоны и корреспондировал по знаменитому делу Дрейфуса. Его перу принадлежат большие книги

«Маленькие люди с большим горем» и очень интересные «Очерки Испании». Много лет после, когда Антон Чехов был уже большим писателем и жил в Мелихове, Павловский получил амнистию, приезжал в Россию и навестил брата в его усадьбе. Вспоминали о Таганроге и о том времени, когда Павловский жил на хлебах у моей матери.

Рядом с нашим домом, бок-о-бок, жила греческая, обрусевшая семья Малаксиано. Она состояла из отца с матерью, двух девочек и мальчика Афони. С Афоней я дружил, а с девочками играла моя сестра Маша. Одна из этих девочек впоследствии сделалась видной революционеркой, была судима и затем сослана в каторжные работы. Там за нанесенное ей оскорбление она, как говорил мне брат Антон, ударила надзирателя по физиономии, за что подверглась телесному наказанию и вскоре затем умерла.

Ярмарочный переулок соединял в Таганроге две площади: Ярмарочную и Митрофаниевскую, так что из окон нашего углового дома были видны они обе. На Митрофаниевской площади был новый базар, на котором совершались экзекуции над преступниками. Устраивался черный помост со столбом, вокруг которого собирался во множестве народ. Затем, с барабанным боем, на высокой черной колеснице мимо нашего дома провозили несчастного преступника с закрученными назад руками и с черной доской на груди, на которой была написана его вина. Когда кортеж подъезжал к выстроенному на новом базаре эшафоту со столбом, то преступника переводили с колесницы на эшафот, привязывали к столбу, читали над ним приговор и, если он был дворя-

нин, ломали над его головой шпагу. Все это мы видели из окон нашего верхнего этажа, причем наша мать, Евгения Яковлевна, всегда глубоко вздыхала о преступнике и крестилась. Для нее это был несчастный, достойный сострадания человек, над которым глумились сильные, и в таком именно духе она воспитывала и нас. Вообще сострадание к преступникам и заключенным было очень развито в нашей семье. Мой дядя Митрофан Егорович всегда в день своего ангела посылал в острог целые корзины французских хлебов по числу заключенных, а наша мать, Евгения Яковлевна, пока мы жили в доме Моисеева, каждый год 24 октября, в день престольного праздника, ходила в острожную церковь ко всенощной. При каждом возможном случае она расспрашивала заключенных об их нуждах и за что они сидят.

Я помню, как в один из таких вечеров, 24 октября, наша мать отправилась в острог и долго не возвращалась. Там затянулась служба, но дома забеспокоились, и, взяв меня с собой, наша няня Агафья Александровна вышла за ворота на тротуар и стала с тревогой поджидать мать. Было уже совсем сумеречно. По противоположному тротуару шла молоденькая девушка, очевидно, спешила домой; как вдруг по улице промчался экипаж, затем вернулся и, поравнявшись с девушкой, остановился. Двое мужчин выскочили из него, прямо у нас на глазах схватили девушку, бросили ее в экипаж, прыгнули в него сами и помчались далее. Девушка в отчаянии кричала из всех сил: «Спасите! Помогите!». И я долго еще слышал ее голос, пока он не затих, наконец, в недалекой от нас степи. И ни

одна душа не выскочила и не поинтересовалась, только няня Агафья Александровна почесала у себя за ухом спицей от чулка, вздохнула и сказала: «Девушку украли».

Для меня, мальчика, это было не совсем тогда понятно, но потом я узнал, что похищение девушек для турецких гаремов в то время в нашем городе очень процветало.

В 1874 году мы переехали в свой собственный дом, выстроенный нашим отцом на глухой Елисаветинской улице, на земле, подаренной ему дедушкой Егором Михайловичем. Отец был плохим дельцом, все больше интересовался пением и общественными делами, и потому его собственные дела пошли на убыль, и самый дом вышел неуклюжим и тесным, с толстыми стенами, в которые подрядчиками было вложено кирпича больше, чем было необходимо, ибо постройка оплачивалась с каждой тысячи кирпича: поэтому нажились только подрядчики, оставив отцу невозможный дом и непривычные для него долги по векселям. Вся семья теснилась в четырех комнатках: внизу, в подвальном этаже, поместили овдовевшую тетю Федосью Яковлевну с сыном Алешей, а флигелек, для увеличения ресурсов, сдали вдове Савич, у которой была дочь-гимназистка Ираида и сын Анатолий. Этого Анатолия репетировал мой брат Антон Павлович. Кажется, Ираида была первой любовью будущего писателя. Но любовь эта проходила как-то странно: они вечно ссорились, говорили друг другу колкости, и можно было подумать со стороны, что четырнадцатилетний Антоша был плохо воспитан. Так, например, когда в одно из воскресений Ираида выходила из сво-

его флигелька в церковь, нарядная, как бабочка, и проходила мимо Антона, то он схватил валявшийся на земле мешок из-под древесного угля и ударил им ее по соломенной шляпке. Пыль пошла как черное облако. Как-то, размечтавшись о чем-то, эта самая Ираида написала в саду на заборе какие-то трогательные стишки. Антон ей тут же ответил мелом следующим четверостишием:

О, поэт заборный в юбке,
Оботри себе ты губки.
Чем стихи тебе писать,
Лучше в куколки играть.

Семья нашего отца была обычной патриархальной семьей, каких было много полвека тому назад в провинции, но семьей, стремившейся к просвещению и сознававшей значение духовной культуры. Главным образом по настоянию жены, Павел Егорович хотел дать детям самое широкое образование, но, как человек своего века, не решался, на чем именно остановиться: сливки общества в тогдашнем Таганроге составляли богатые греки, которые сорили деньгами и корчили из себя аристократов, — и в отце составилось твердое убеждение, что детей надо пустить именно по греческой линии и дать им возможность закончить образование даже в Афинском университете. В Таганроге была греческая школа с легендарным преподаванием, и по наущению местных греков отец отдал туда учиться трех своих старших сыновей — Александра, Николая и Антона; но преподавание в этой школе даже для нашего отца, слепо верившего грекам, оказалось настолько анекдотическим, что пришлось взять оттуда детей и перевести их в местную

классическую гимназию. О пребывании моих братьев в этой греческой школе в семейных воспоминаниях не осталось ничего достоверно-определенного, а к тому, что было напечатано моим покойным братом Александром в «Вестнике Европы»,[3] повторяю, нужно относиться с большой осторожностью.

День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки; как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший Александр устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель — сочинял... Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем, он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепиано. Мать, вечно занятая, суетилась в это время по хозяйству или обшивала на швейной машинке детей. Всегда заботливая, любвеобильная, она, несмотря на свои тогда еще сравнительно молодые годы, отказывала себе во многом и всю свою жизнь посвящала детям. Она очень любила театр, но бывала там не часто, и когда, наконец, вырывалась туда, то с нею вместе, для безопасности возвращения, отправлялись туда и мои братья-гимназисты. Мать садилась внизу, в партере, а братья — на галерке, причем Антон после каждого действия на весь театр вызывал не актеров, а тех аристократов-греков, которые сидели рядом с матерью в партере. К нему приставал весь театр, и греки чув-

ствовали себя так неловко, что иной раз уходили до окончания спектакля. Убежденная противница крепостного права, мать рассказывала нам о всех насилиях помещиков над крестьянами и внушала нам любовь и уважение не только ко всем, кто был ниже нас, но и к маленьким птичкам и животным и вообще ко всем беззащитным существам. Мой брат Антон Павлович был того убеждения, что «талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны матери», хотя я лично думаю, что и со стороны матери в моих братьях было прилито таланта не мало.

Приходила француженка, мадам Шопен, учившая нас языкам. Отец и мать придавали особенное значение языкам, и, когда я только еще стал себя сознавать,— мои старшие два брата, Коля и Саша, уже свободно болтали по-французски. Позднее являлся учитель музыки — чиновник местного отделения государственного банка,— и жизнь текла так, как ей подобало течь в тогдашней средней семье, стремившейся стать лучше, чем она была на самом деле.

Как я уже говорил, наш отец был большим формалистом во всем, что касалось церковных служб, а потому мы, мальчики, не должны были пропускать ни одной всенощной в субботу и ни одной обедни в воскресенье. Отсюда у Антона Чехова такое всестороннее знание церковных служб («Святою ночью» и др.). Одно время мы пели в церкви местного дворца, в котором жил и умер в 1825 году Александр I. Здесь служба совершалась только в страстную неделю, в первый день пасхи и на троицу. *

* Утверждение же А. Седого, что Антон Чехов пел

Любовь к пению, посещению церквей и служба по выборам отнимали у нашего отца слишком много времени. Он посылал вместо себя в лавку кого-нибудь из нас, для «хозяйского глаза», но, заменяя отца, мы не были лишены таких удовольствий, какие и не снились многим нашим сверстникам, городским мальчикам: мы на целые дни уходили на море ловить бычков, играли в лапту, устраивали домашние спектакли. Несмотря на сравнительную строгость семейного режима и даже на обычные тогда телесные наказания, мы, мальчики, вне сферы своих прямых обязанностей, пользовались довольно большой свободой. Прежде всего, сколько помню, мы уходили из дому, не спрашиваясь: мы должны были только не опаздывать к обеду и вообще к этапам домашней жизни, и что касается обязанностей, то все мы были к ним очень чутки. Отец был плохой торговец, вел свои торговые дела без всякого увлечения, а вследствие того, что его пустили с детства по этой линии. Лавку открывали только потому, что ее неловко было не открывать, и детей сажали в нее только потому, что нельзя было без «хозяйского глаза». Отец выплачивал третью гильдию лишь по настоянию матери, так как это могло избавить нас, сыновей, от рекрутчины, и как только была объявлена в 1874 году всесословная, обязательная для всех воинская повинность, эта гильдия отпала сама собой, и отец превратился в простого мещанина, как мог бы превратиться в регента или стать официальным

во дворце вместе с кузнецами, неверно, так как кузнецы-любители церковного пения пели не во дворце, а в Митрофаниевской церкви.

оперным певцом, если бы к тому его направили с детства.

Я помню об одной далекой поездке, которую сорганизовали для нас родители,— это путешествие в слободу Криничку, за 70 верст от Таганрога. К этой поездке приготовлялись задолго. Старший брат Александр клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, а брат Николай, будучи пятнадцатилетним мальчуганом, добыл себе откуда-то складной цилиндр (шапо-кляк) и задумал ехать в нем. Добродушным насмешкам со стороны Антона не было конца. Мать, Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди на дорогу. Наняли простого драгаля, т. е. ломового извозчика, Ивана Федоровича, устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. Я даже и не представляю себе теперь, как мы могли тогда на них разместиться и ехать целые 70 верст туда и столько же обратно. И все время Николай сидел в цилиндре и, прищуря один глаз, терпеливо выслушивал от Антона насмешки. Николай немного косил с самого раннего детства и ходил, прищуриваясь на один глаз и склонив голову на плечо, и любивший всех вышучивать и давать всем названия Антон то-и-дело высмеивал его:

— Косой, дай покурить. Мордокривенко, у тебя есть табак?

До Кринички добрались к вечеру, когда заходило солнце. Это было обыкновенное село, в котором при церкви стоял колодец с очень холодной водой, почитавшейся целебной. Около колодца был выстроен барак, в котором этой

водой обливались, черпая ее ведрами. При въезде в Криничку Антон, все время не оставлявший Николая в покое своими шутками, наконец не выдержал и сбил с его головы цилиндр. Шляпа попала как раз под колесо и ее раздавило так, что с боков повылезали наружу пружины. Тем не менее безропотный Николай подобрал свой головной убор, снова надел его, и так, с торчавшими из боков пружинами, и продолжал дальнейший путь. А в это время Александр кричал, сколько хватало у него сил:

— Эй, дивчина! Пойди скажи батюшке, что архиерейская певческая приехала!

Не успели приехать и остановиться у какого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали откуда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять щучек и с полсотни раков. На следующий день мать сварила нам превосходный раковый суп.

Мы провели в Криничке двое суток и затем отправились к дедушке в Княжую, верст за двадцать в сторону от Кринички. Наш дедушка, Егор Михайлович, был в то время управляющим у графа Платова, сына известного атамана, героя 1812 года. Княжая представляла собою заброшенную барскую усадьбу с большим фруктовым садом, при реке. Дедушка и бабушка жили в простой хатке, выстроенной ими специально для себя, рядом с большим барским домом, так как дедушка не пожелал жить в «хоромах». Когда мы приехали туда, нас, мальчиков поместили в этом большом доме, где мы никак не могли уснуть от необыкновенного множества блох, несмотря на то, что дом целыми десятилетиями оставался необитаем. В этой усадьбе

мои братья, Антон и Николай, гостили уже однажды, в прошедшем году, попав как раз на молотьбу, так что, когда мы приехали туда, то они уже чувствовали себя там как хозяева. Кузница, клуня, масса голубей, сад, а главное простор и полная безответственность делали наше пребывание в Княжей счастливым. Здесь же, в этой Княжей, несчастный цилиндр Николая нашел свою судьбу. Николай не мог расстаться с ним и во время купанья. Голый, в цилиндре, он барахтался в реке, когда Антон подкрался к нему сзади и сбил с него шляпу. Она свалилась у Николая с головы, упала в реку, ко всеобщему удивлению захлебнула воды и... утонула.

Антон вообще был из всех самым талантливым на выдумки, но и менее всех нас способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручка. Он устраивал лекции и сцены, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-либо физическим трудом.

Правда, был однажды такой случай, когда проявил свое стремление к физическому труду и он. В 1874 году, при таганрогском уездном училище открывались ремесленные классы, которыми заведывал некто Порумб — человек на все руки: он и швейные машины чинил, и сапоги шил, и преподавал портняжное мастерство. У него была такая длинная борода, что он сметал ею обрезки кожи с доски, лежавшей у него во время работы на коленях. Так как образование в этих ремесленных классах было бесплатное, то

мои братья воспылали желанием обучиться мастерствам: брат Иван принялся за переплетное дело, брат Антон стал изучать портняжное ремесло. Скоро будущему писателю пришлось проявить свои способности на деле, так как подошло время шить для брата Николая серые гимназические штаны. Антон Павлович принялся за шитье смело, с ученым видом знатока. Тогда была мода на узкие брюки, и, пока Антон кроил, Николай, любивший щегольнуть, все время стоял тут же и приставал к нему:

— Поуже, Антон... Теперь носят узкие брюки. Да крой же поуже!

И Антон так накроил, что когда брюки были уже готовы и Николай стал их надевать, то сквозь них не пролезали его ноги. Тем не менее, он все-таки натянул их на себя, точно трико, надел штиблеты и отправился гулять.

— Братцы! глянь! тю! — стали указывать на него пальцами уличные мальчишки. — Сапоги — корабли, а штаны — макароны!

Так это выражение «штаны макароны» и осталось в нашей семье на всю жизнь.

В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, мы разыграли даже гоголевского «Ревизора». Устраивали спектакли и на украинском языке про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный день и становился посреди храма на коврике, в сонме иностранных консулов.

Старший брат Александр в это время уже не принимал участия в совместной жизни семьи.

Он считался уже большим, жил на стороне, у директора гимназии, а затем кончил курс, уехал в Москву и с тех пор (с 1875 года) не возвращался в семью уже никогда. Уехал с ним и брат Николай, и спектакли прекратились. Таким образом молодое поколение чеховской семьи ограничилось только тремя младшими братьями и сестрой. Антон стал теперь старшим и пользовался наибольшим авторитетом. Этим четверым было предназначено судьбой не расставаться друг с другом на долгое время — до самой средины девятидесятых годов.

В 1875 году Антон тяжело заболел и чуть не отправился к своим праотцам. Как я упомянул выше, несколько лет под ряд у нас жил нахлебником мелкий чиновник коммерческого суда Гавриил Парфентьевич. Днем он служил в суде, а по вечерам играл в клубе на большие ставки; ему везло, он выигрывал, так что лет через десять имел уже своих лошадей и большое именье. У него был брат Иван Парфентьевич, тоже игрок, но в другом отношении: он все время подыскивал себе богатую невесту, не имея за душой ровно ни гроша. И вот судьба послала ему в жены уже пожилую женщину, вдову, имевшую в Донецком бассейне большую усадьбу в несколько сот десятин. Этот самый Иван Парфентьевич пригласил к себе погостить Антона. По дороге в имение или обратно из имения в Таганрог мальчик-Антоша выкупался в холодной речке и схватил тяжелую простудную болезнь.

— Заболел у меня Антоша... — говорил мне потом, лет двадцать спустя, Иван Парфентьевич, — я не знал, что с ним делать. Уж я его

завёз на жидовский постоялый двор, и там мы его уложили.

Антошу привезли домой. Как сейчас помню его, лежавшего при смерти. Около него гимназический доктор Штремпф, который говорит с немецким акцентом:

— Антоша, если ты желаешь быть здоров...

Озабоченная мать жарит на сковородке льняное семя для припарок, а я бегаю в аптеку за пилюлями, на каждой из которых, к моему удивлению, напечатано имя их изобретателя «Covin». Уже будучи врачом, Антон Павлович говорил впоследствии, что это были совершенно ненужные рекламные пилюли.

Эта болезнь оставила в нем большие воспоминания. Это была первая тяжкая болезнь, какую он испытал в жизни, и именно ей он приписывал то, что уже со студенческих лет стал страдать жестоким геморроем. Постоялый же двор, в который завозил его Иван Парфентьевич, и симпатичные евреи выведены им в «Степи», в лице Моисея Моисеевича, его жены и брата Соломона. Кстати: болезнь настолько сдружила Антона с доктором Штремпфом, окончившим медицинский факультет в Дерптском университете, что все время будущий писатель мечтал отправиться по окончании курса гимназии в Дерпт и там получить медицинское образование. И если бы к тому времени его семья не переехала вся целиком в Москву, то возможно, что он выполнил бы это свое заветное желание.

По отъезде двух старших братьев в Москву наш отец стал едва сводить концы с концами. Его дела окончательно упали. Вся жизнь семьи потекла замкнуто, в бедности, хотя и в своем

доме, над которым тяготели долги. Целые дни для мальчиков проходили в труде. По вечерам Антоша веселил всех своими импровизациями, или же все слушали рассказы матери, тетки Федосьи Яковлевны или няни, которая жила у нас долго и ушла только в самое последнее время пребывания нашего в Таганроге. Это была превосходная женщина, умевшая удивительно рассказывать эпизоды из своей многоопытной жизни. Я уже упоминал о ней: это была Агафья Александровна Кумская. Она была в молодости крепостной известных на юге Иловайских, была приставлена в качестве подруги к единственной дочери генерала Иловайского, совершила с ней большое путешествие, помогла затем этой дочери бежать из дому и выйти против воли отца за барона Розена, за что и была продана потом в чужую семью. Она все больше повествовала о таинственном, необыкновенном, страшном и поэтическом. «Счастье» Чехова безусловно написано им под впечатлением ее рассказов.

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом университета, а другой учился в училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике балаганы и в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под кущей посаженного им дикого виноградника и называл себя «Иовом под смоковницей». Вставали в этих шалашах очень рано, и,

взявши с собой меня, Антон шел на базар покупать на целый день харчи. Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно больше кричала.

— Пускай все знают, — говорил он, — что и мы тоже кушаем уток.

На базаре Антон присматривался к голубям, с видом знатока рассматривал на них перья и оценивал их достоинства. Были у него и свои собственные голуби, которых он каждое утро выгонял из голубятника и, повидимому, очень любил заниматься ими. Затем дела наши стали так туги, что для того, чтобы сократить количество едоков, меня и брата Ивана отправили к дедушке в Княжую. А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас отняли наш дом.

Дом этот был выстроен на последние крохи, причем недоставшие пятьсот рублей были взяты под вексель из местного общества взаимного кредита. Поручителем по векселю был некий Костенко, служивший в том же кредите. Долгое время переворачивали этот несчастный вексель, пока, наконец, отцу не пришлось признать себя несостоятельным должником. Костенко уплатил по векселю и предъявил к отцу встречный иск в коммерческом суде. В то время неисправных должников сажали в долговую яму, и, как я сказал, отцу необходимо было бежать. Он сел в поезд не на вокзале в Таганроге, а с первого ближайшего полустанка, где его не мог бы опознать никто.

Дело о долге Костенко велось в коммерческом суде. Там, в этом суде, служил наш друг Гавриил Парфентьевич. Чего же лучше? Было решено, что он оплатит долг отца, не допустит до прода-

жи с публичных торгов нашего дома и спасет его для нас.

— Я это сделаю для матери и сестры, — обнадежил Гавриил Парфентьевич нашу мать, Евгению Яковлевну, которую всегда называл матерью, а маленькую Машу — сестрой.

А сам устроил так, что вовсе без объявления торгов, в самом коммерческом суде дом был укреплен за ним, как за собственником, всего только за пятьсот рублей.

Таким образом в наш дом, уже в качестве хозяина, въехал Гавриил Парфентьевич. Кажется, за проценты Костенко забрал себе всю нашу мебель, и матери ничего более не оставалось, как вовсе покинуть Таганрог. Она захватила с собой меня и сестру Машу и, горько заливаясь слезами в вагоне, повезла нас к отцу и двум старшим сыновьям в Москву, на неизвестность.

Антоша и Ваня были брошены в Таганроге на произвол судьбы одни. Антоша остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в Москву, и Антон остался в Таганроге один, как перст. Ему нужно было кончать курс, он был еще только в пятом классе гимназии.

Когда Гавриил Парфентьевич въехал в дом, он уже застал там Антона, которого за угол и стол и пригласил готовить своего племянника, Петю Кравцова, в юнкерское училище. Петя был сын казацкого помещика из Донецкого округа, служившего когда-то на Кавказе.

Репетируя Петю, Антон близко сошелся с ним и полюбил его, тем более, что они оказались

почти сверстниками. Когда наступило лето, этот Петя приглашал его к себе в имение, и Антон Павлович впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем пребывании в этой степной первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял все прелести ружейной охоты, там он выучился гарцовать на безудержных степных жеребцах. Там были такие злые собаки, что для того, чтобы выйти ночью по надобности на двор, нужно было будить хозяев. Собак не кормили, они находили себе пропитание сами. Там не знали счета домашней птице, которая приходила уже с готовыми цыплятами и была так дика, что не давалась в руки, и для того, чтобы иметь курицу на обед, в нее нужно было стрелять из ружья. Там уже начиналась антрацитная и железнодорожная горячка и уже слышались звуки сорвавшейся в шахте бадьи («Вишневый сад»), строились железнодорожные насыпи («Огни») и катился сам собою оторвавшийся от поезда товарный вагон («Страхи»).

У того же Гавриила Парфентьевича жила его племянница Саша, учившаяся в местной женской гимназии. Еще до нашего отъезда в Москву эту девочку поместили к нам в нахлебницы, и она спала в одной комнате вместе с моей сестрой. Все мы, мальчики, скоро сдружились с ней, и за то, что она ходила в красненьком платьице с черными горошками, Антон продразнил ее «Козявкой», и она плакала. Когда мы уехали в Москву, она перешла к своему дяде и вместе с ним потом въехала в наш дом. Впоследствии, через двадцать лет, когда мы жили в Москве в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, она при-

езжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадостной девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, прожила с нами около месяца, и мои братья, Антон и Иван Павловичи, заметно «приударяли» за ней, а я писал ей в альбом стишки, а на братьев — стихотворные эпиграммы.[4] Ее дразнили, что на юге у нее остался вздыхатель, который очень скучает по ней, и Антон Павлович подшутил над ней следующим образом: на бывшей уже в употреблении телеграмме были стерты резинкой карандашные строки и вновь было написано следующее: «Ангел, душка, соскучился ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник».

Нарочно позвонили в передней, будто это пришел почтальон, и горничная подала Саше телеграмму.

Она распечатала ее, прочитала и на другой же день, несмотря на то, что все мы умоляли ее остаться, уехала домой к себе на юг. Мы уверяли ее, что телеграмма фальшивая, но она не поверила.

Впоследствии, уже вдовой, она приезжала к нам в Мелихово, где так же заражала всех своей веселостью и пела украинские романсы. И Антон Павлович, подражая ей, говорил:

— И-и, кума, охота вам колотиться!

В пору своего одинокого пребывания в Таганроге (1876—1879 годы) ездил Антон и к своему приятелю В. И. Зембулатову в усадьбу. Любитель давать каждому человеку прозвище, он еще гимназистом стал дразнить этого своего толстого одноклассника Макаром. Так эта кличка и осталась за почтенным доктором Зембулатовым

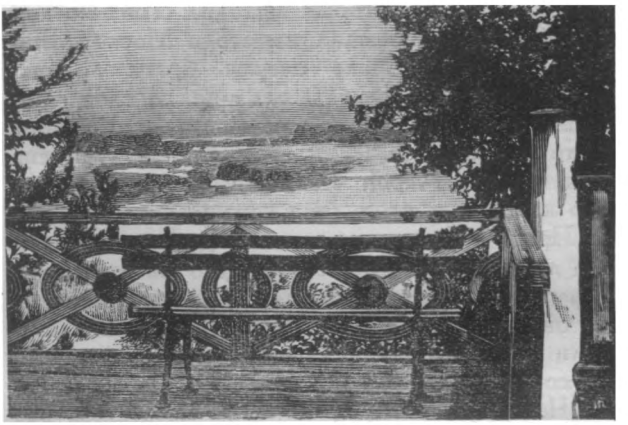
до самой его смерти. А когда оба они были гимназистами, то довольно весело проводили лето вместе. Антон Павлович рассказывал мне один эпизод любовного свойства из своей жизни у этого толстяка, но я, к сожалению, не могу о нем сообщить в этих воспоминаниях. Я очень жалею, что, уехав в 1876 году в Москву, был разлучен с братом Антоном на целые три года и что эти три года его жизни так и остались неизвестными в его биографии. А между тем именно в эти три года он мужал, формировал свой характер и из мальчика превращался в юношу.

Сколько знаю, будучи учеником седьмого и восьмого классов, он очень любил ухаживать за гимназистками и, когда я был тоже учеником восьмого класса, он рассказывал мне, что его романы были всегда жизнерадостны. Часто, уже будучи студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь девушку, случайно проходившую мимо, говорил:

— Беги, беги скорей за ней! Ведь это — находка для ученика седьмого класса!

В эти три года он часто посещал театр, любил французские мелодрамы, вроде «Убийство Коверлей» и веселые французские фарсы, вроде «Маменькиного сынка», много читал. Особенное впечатление на него произвели «Между молотом и наковальней» Шпильгагена [5] и романы Виктора Гюго [6] и Георга Борна. Написал он в это время сам целую драму «Безотцовщина» и водевиль «Недаром курица пела». Будучи гимназистом, он выписывал газету «Сын отечества» и сам сочинял рукописный журнал с карикату-

рами «Заику», в которых выводил своих московских братьев и посылал им его в Москву. Впоследствии, уже после смерти брата Антона, А. С. Суворин[7] рассказывал мне, со слов самого писателя, следующий эпизод из его жизни: где-то в степи, в чьем-то имении, будучи еще гимназистом, Антон Павлович стоял у одинокого колодца и глядел на свое отражение в воде. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же стал обнимать ее и целовать. Затем оба они еще долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал А. С. Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.



III

Мы переезжаем в Москву. — Первые впечатления от столицы. — Письма Антона из Таганрога. — Мое поступление в гимназию. — Приезд Антона. — Учение сестры на курсах Герье. — Наша бедность. — Двенадцать квартир за три года. — 1879 год. — Антон поступает в университет. — Наши нахлебники. — Работа по поднятию материального благополучия семьи. — Первые выступления Антона в печати. — Дружба Николая с М. М. Дюковским. — «Шуйские купчики» в Москве. — Разрыв Антона с «Стрекозой». — Сотрудничество братьев Чеховых в «Зрителе». — Вс. Вас. Давыдов. — В редакции «Зрителя». — История с «Королем и Бондаривной». — Рисунки Николая. — А. М. Дмитриев (барон Галкин).

В Москву мать привезла меня и сестру 26 июля 1876 года. Таганрог — новый город с прямыми улицами и с аккуратными постройками,

весь обсаженный деревьями, так что все его улицы и переулки представляют собой сплошные бульвары. Того же я, но только в более грандиозных размерах, ожидал от Москвы. В нашем доме издавна, еще с моего появления на свет, висели картины, изображавшие Лондон, Париж и Венецию. На венецианской картине был изображен Большой канал (Canale grande) с дворцами по берегам и с гондолами; под картиной надпись на трех языках: «Vue de Venice», «Aussicht von Venedig» и по-русски: «Утро в Венедикте». Таким образом в моем детском мозгу составилось впечатление, что столица каждого государства должна быть красива, изящна и отвечать всем требованиям совершенной культуры. Каковы же были мои удивление и разочарование, когда поезд подвез нас к паршивенькому тогда Курскому вокзальчику в Москве, который перед Таганрогским вокзалом мог сойти за сарайчик, и когда я увидел отвратительные мостовые, низенькие, обшарпанные постройки, кривые, нелепые улицы, массу некрасивых церквей и таких рваных извозчиков, каких засмеяли бы в Таганроге. Правда, я въехал в Москву, уже немного знакомый с ее Кремлем и с Сухаревой башней по рисункам, помещенным в сборнике «Пчела», изданном еще при царе Горохе некиим Щербиной и целые годы лежавшем у нас на столе вместе с другой нашей настольной книгой — «Дети капитана Гранта», но даже и Кремль с Сухаревой башней меня разочаровали.

Нас встретили на вокзале отец и брат Николай, и всю дорогу к квартире, на Грачевку, я и отец за неимением у него шести копеек для того, чтобы проехать на верхушке конки, прошли

пешком. Отец был еще без должности, оба брата тоже дули в кулаки — и это сказалось с первой же минуты нашего прибытия в Москву. Пошли в ход привезенные матерью серебряные ложки и рубли. Всем нам пришлось поместиться в одной комнате с чуланчиком под лестницей, в котором должны были спать я и братья Александр и Николай. Резкий переход с южного пшеничного хлеба на ржаной произвел на меня самое гнетущее впечатление. Хозяйства не было никакого: то за тем, то за другим нужно было бежать в лавченку, и скоро я превратился в мальчика на побегушках, а моя одиннадцатилетняя сестра Маша — в прачку, обстирывавшую и обглаживавшую всю семью. Маленькая, она гладила даже крахмальные рубашки для отца и для старших братьев. Привыкшему к таганрогскому простору, мне негде было даже побегать. Эти первые три года нашей жизни, без гроша за душою, были для нас одним сплошным страданием. Я тосковал по родине ужасно. Часто я ходил, несмотря на дальность расстояния, на Курский вокзал встречать поезд с юга, разговаривал с прибывшими из Таганрога вагонами и посылал с ними ему поклоны.

Антон часто писал нам из Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения. Они погибли в недрах московских квартир, а из них-то и можно было бы почерпнуть данные о ходе его развития и формирования его дарования и духа. Часто в письмах он задавал мне загадки, вроде: «Отчего гусь плавает?» или «Какие камни бывают в море?», сулился привезти мне дрессированного дубоноса (птицу) и прислал однажды посылку, в которой оказались сапоги с набиты-

ми табаком голенищами: это предназначалось для братьев. Он распродавал те немногие вещи, которые оставались еще в Таганроге после отъезда матери, — разные банки и кострюльки, — и высылал за них кое-какие крохи и вел по этому поводу с матерью переписку. Не признававшая никаких знаков препинания, мать писала ему письма, начинавшиеся так: «Антоша в кладовой на полке...» и т. д., и он вышучивал ее, что по розыскам никакого Антоши в кладовой на полке не оказалось. Он поощрял меня к чтению, указывал, какие книги мне следовало бы прочесть, а между тем вопрос о продолжении образования моего и сестры с первых же дней нашего поселения в Москве стал для нас довольно остро. Я приехал в Москву уже перешедшим во второй класс, а сестра Маша — в третий. 16 августа началось уже учение, а мы сидели дома, потому что нечем было платить за наше учение. Требовалось сразу за каждого из нас по 25 рублей, а достать их по тогдашним временам не представлялось никакой возможности.

Прошли август и сентябрь, наступили ранние в тот год холода, а мы с сестрой все еще сидели дома. Наконец это стало казаться опасным. Поговаривали об отдаче меня в мальчики в амбар купца Гаврилова, описанный у Чехова в его повести «Три года»; в амбаре служил племянник моего отца, которому не трудно было составить протекцию, но это приводило меня в ужас. Кончилось тем, что, не сказав никому ни слова, я сам побежал в Третью гимназию на Лубянке. Там мне отказали в приеме. Тогда, совершенно еще незнакомый с планом Москвы и с адресами гимназий, я побежал за тридевять земель, в сто-

рону знакомого мне Курского вокзала, на Разгуляй, во Вторую гимназию. Я смело вошел в нее, поднялся наверх, прошел через всю актовую залу, в конце которой за столом, покрытым зеленым сукном, сидел одиноко директор. Из классов доносились звуки занятий. Я подошел к директору и, еще не свободный от южного акцента и интонаций, рассказал ему, в чем дело, и, стараясь как можно вежливее выражаться, попросил его принять меня, так как мне грозит гавриловский амбар, а я хочу учиться. Он поднял бритое лицо, спросил меня, почему не пришли сами родители; я ответил что-то очень удачное, и он подумал и сказал:

— Хорошо. Я принимаю тебя. Начинай ходить с завтрашнего же дня. Только скажи кому-нибудь из своих, чтобы пришли за тебя расписаться.

Трехверстное пространство от гимназии до своей квартиры я уже не шел, а бежал. Узнав от меня, что я опять стал гимназистом, все мои домашние пришли в радость, и с тех пор за мной так и установилась репутация: «Миша сам себя определил в гимназию».

Зима была жестокая, пальтишко на мне было плохонькое, и, отмеривая каждый день по три версты туда и по три обратно, я часто плакал на улице от невыносимого мороза.

Вопрос о плате за ученье для меня вырешился сам собой. Все время оставаясь без должности, отец мой исполнял то те, то другие поручения временно. Так, для усиления письменной части в том же амбаре Гаврилова в Теплых рядах «в городе», он был принят на время в качестве писца. Возвратясь из гимназии, я бежал к нему по-

могать. Откуда-то приехал купец для закупки товаров у Гаврилова и, увидев меня, заговорил со мной, задавал вопросы, и окончилось дело тем, что он в ту же зиму и умер, завещав мне на образование по пятьдесят рублей в год. Душеприказчиком он назначил того же купца И. Е. Гаврилова, который, выдавая мне эти деньги, всякий раз делал мне допрос, хожу ли я в церковь, чту ли царя, не готовлю ли себя в «спецыалисты» (социалисты) и т. д., чем приводил меня в большую обиду, так что с пятого класса, когда я стал зарабатывать уже сам, я отказался от его подачек.

На рождество 1876 года нас обрадовал своим приездом в Москву Антоша. Я водил его по Кремлю, показывал ему столицу и в первый же день так усахарил его, что все следующие сутки он жаловался на то, что по пяткам у него от усталости бегали мурашки. Против ожидания, Москва произвела на него ошеломляющее впечатление. Благодаря отсутствию денег на обратный проезд, он зажился у нас до масленицы и уехал с медицинским свидетельством о болезни, которое выдал ему через брата Александра доктор Яблоновский. Гостя у нас, Антон рассказывал нам о таганрогской гимназии, о проделках товарищей, о редкостно близкой дружбе с учителями, и это заставляло меня тяжело скорбеть от зависти, ибо мне в гимназии было очень тяжело.

Тогда были произведены одно за другим покушения на Александра II, подпольщики-революционеры стали развивать свою деятельность, и в обществе уже вслух стали высказываться пожелания конституции. Развертывалась реакция.

Из нас, гимназистов, даже самых маленьких, принялись выколачивать «социализм». В министерстве просвещения стала господствовать нелепая доктрина, что страх влечет за собой уважение, а уважение всегда переходит в любовь. Внушая воспитанникам безумный страх, гимназическое начальство думало этим возбудить в них любовь к правительству, и среди педагогов нашлись поэты этого дела. Одни из желания выслужиться, другие по глупости, а третьи из простого садизма стали есть своих учеников поедом. К людям последнего сорта принадлежал преподаватель К. К. П — ский. Он глумился над мальчиками и упивался их страданиями. Он сочинял совершенно ненужные книжки, и мы должны были их покупать, платя по 1 руб. 50 коп. и по 2 рубля за экземпляр, только для того, чтобы дать ему заработать, и затем, неразрезанные, они так и оставались валяться без употребления. На его уроках с учениками делались истерики, а когда вдруг неожиданно являлся окружной инспектор, он прикидывался сразу овечкой и ползал перед ним на животе. Торжественно в гимназической церкви этот гусь совершил обряд перехода из католичества (не то из униатства) в православие. Многим своим ученикам он испортил судьбу и жизнь. Один раз он так придрался к одному из учеников пятого класса, что сидевший в стороне, тоже пятиклассник, Раков не выдержал, поднялся с места и в негодовании крикнул:

— О, П — ский! Я вижу, что ты подлец большой руки!

Конечно, Раков был исключен из гимназии немедленно, тотчас же по окончании урока, а

П — ский на благо министерства просвещения еще долго оставался преподавателем древних языков.

Другой преподаватель, под предлогом искоренения среди гимназистов курения, ощупывал у них карманы, отбирая серебряные портсигары и не возвращая их обратно. Известный переводчик учебников древних языков Курциуса и Кюнера — Я. И. Кремер, по которым учились мои братья и я, рассказывал мне, что как раз перед самыми выпускными экзаменами, которые должен был держать его сын, мой сверстник, к нему в два часа ночи явился его сослуживец, тоже один из моих преподавателей древних языков, и поднял его с постели. Я. И. Кремер сошел к нему вниз в халате и со свечою в руках.

— Сейчас я проигрался, — сказал пришелец. — Дайте мне сейчас же двадцать пять рублей.

— Но у меня их нет, — ответил Я. И. Кремер.

— А вы позабыли, что я завтра экзаменую вашего сына?

Я. И. Кремер смутился, поднялся наверх, достал из шкатулки двадцатипятирублевку и, возвратившись, покорно отдал ее проигравшемуся коллеге.

И поразительнее всего то, что такая камарилья сразу же ощетинивалась и становилась на дыбы, когда в чем-нибудь провинился гимназист. Я помню, какой кавардак со стихиями поднялся в нашей гимназии, когда у двоих моих одноклассников Ю. и Н. нашли роман Чернышевского «Что делать?».

Позднее, в министерство Делянова,[1] был издан циркуляр о том, чтобы дети бедных родите-

лей вовсе не принимались в гимназии, а я был беден, ходил весь в заплатах, — и мне грозило исключение. Учителя должны были следить за интимной жизнью воспитанников и ко мне то-и-дело врывались в квартиру соглядатаи, попадая в самые критические моменты, когда все мы уже укладывались спать или сидели за ужином.

Повидимому, этот террор не дошел еще до юга, да и Таганрог был совсем другого учебного округа (одесского), потому что приехавший к нам Антон был весел, жизнерадостен, и то, что он говорил о своей дружбе с учителями, казалось мне фантастической сказкой. Все мои товарищи и соученики были угрюмы, вечно оглядывались и смотрели исподлобья. Так насаждались в московском учебном округе любовь и уважение к правительству.

В этот период брат Антон познакомился и близко сошелся в Москве с нашим двоюродным братом Михаилом Михайловичем Чеховым. Этот Михаил Михайлович был сыном старшего нашего дяди, Михаила Егоровича, которого, как я упомянул выше, наш дедушка, Егор Михайлович, выкупившись на волю, отправил в Калугу учиться переплетному мастерству. Поразительный красавец, очень порядочный человек, добрый и великолепный семьянин, Михаил Михайлович, наслышавшись от нас об Антоне и еще не будучи с ним знакомым, несмотря на значительную разницу лет (ему было тогда около тридцати лет), первый написал Антону в Таганрог письмо, в котором предлагал ему свою дружбу. Между ними завязалась переписка, [2] и только теперь, в этот приезд Антона в Москву, они познакомились. Михаил Михайлович служил в пре-

словутом амбаре И. Е. Гаврилова, был у него самым доверенным лицом и вел компанию с тем приказчиком, который в повести Чехова «Три года» назвал хозяина «плантатором». Между прочим, этот самый Михаил Михайлович имел обыкновение, вытянув вперед ребром ладонь, говорить при всяком случае: «кроме...»

Труднее обстояло дело с возобновлением образования для сестры. За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали, а, может быть, за семейными заботами и перегрузкою в труде или благодаря своей провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут все обошлось благополучно. Сестре удалось тоже самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам. Затем она поступила на высшие курсы Герье [3] и успешно закончила и их. С большим восторгом я вспоминаю то время, когда она слушала таких профессоров, как Ключевский, Карелин, Герье, Стороженко. Я был тогда в старших классах гимназии, по всем швам сжатый гимназическими дисциплиной и сухими учебниками, — и вдруг, переписывая для сестры лекции, окунулся в неведомые для меня науки. Скажу даже более, что общение с лекциями сестры определило и дальнейшее мое образование. Казалось, что от пребывания сестры на высших женских курсах Герье изменилась и самая жизнь нашей семьи. Сестра сдружилась с курсистками, завела себе подруг, и сообща они собирались у нас и читали К. Маркса, Флеровского [4] и многое другое, о чем тогда можно было говорить только шопотом

и в интимном кругу. Все эти милые девушки оказались, как на подбор, интересными и развитыми женщинами. Некоторые из них остались нашими знакомыми до настоящего времени. За одной из них, Юношевой, кажется, ухаживал наш Антон Павлович, провожал ее домой, протежировал ей в ее литературных начинаниях и даже сочинил ей стихотворение:

Как дым мечтательной сигары,
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой судьбы удары,
С улыбкой пламенной в устах...

и т. д.[5]

С другой — астрономкой О. К. — он не прерывал отношений до самой своей смерти, познакомил ее с А. С. Сувориным, и оба они принимали участие в ее судьбе. Между прочим, он вывел ее (во внешних чертах) в лице Рассудиной в повести «Три года».

Наконец, после трехлетних поисков места, отцу удалось получить настоящую должность все у того же И. Е. Гаврилова по письменной части, с жалованием по тридцать рублей в месяц и с правом жить и столоваться у него на дому в Замоскворечье, вместе с другими его приказчиками, чем отец и воспользовался. Старший брат Александр уже давно отошел от семьи, художник Николай учился в своем училище живописи и вел дружбу с учеником Ф. О. Шехтелем, впоследствии знаменитым архитектором и академиком, выстроившим, между прочим, Московский художественный театр; брат Иван готовился в сельские учителя. К нашей семье прибавилась еще и тетя Федосья Яковлевна, которую мы выписали из Таганрога. Мы жили в

тяжкой бедности, перебивались кое-как и не видели никакого просвета впереди. За три года жизни в Москве мы переменили двенадцать квартир и, наконец, в 1879 году наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви св. Николая на Грачевке, в котором пахло сыростью и через окна под потолком виднелись одни только пятки прохожих.

В эту-то квартиру и въехал к нам в конце 1879 года наш брат Антон, только что окончивший курс в Таганрогской гимназии и приехавший в Москву поступать в университет. Мы не видели его целых три года, и с нетерпением ожидали его еще весной, тотчас по окончании экзаменов, но он приехал только в начале августа, задержавшись чем-то очень серьезным в Таганроге. Это серьезное состояло в том, что он хлопотал о стипендии по двадцать пять рублей в месяц, которую учредило как раз перед тем Таганрогское городское управление для одного из своих уроженцев, отправляющихся получать высшее образование. Таким образом он приехал в Москву не с пустыми руками; кроме того, зная стесненное положение нашей семьи, привез с собою еще двух нахлебников, своих товарищей по гимназии — В. И. Зембулатова и Д. Т. Савельева. Он приехал к нам раньше их, один, как раз в тот момент, когда я сидел за воротами и грелся на солнце. Я не узнал его. С извозчика слез высокий молодой человек в штатском, басивший. Увидев меня, он сказал:

— Здравствуйте, Михаил Павлович.

Только тогда я узнал, что это был мой брат Антон, и, взвизгнув от радости, побежал скорее вниз предупредить мать.

К нам вошел веселый молодой человек, все бросились к нему, начались объятия, лобзания и меня послали тотчас же в Каретный Ряд на телеграф, чтобы сообщить отцу в Замоскворечье о приезде Антона. Вскоре явились и Зембулатов с Савельевым, началось устройство помещения для вновь приезжих, и я был точно в чаду. Затем гурьбой отправились смотреть Москву. Я был чичероне, водил гостей в Кремль, все им показывал, и все мы порядочно устали. Вечером пришел отец, мы ужинали в большой компании, и было так весело, как еще никогда.

На следующий день — новый сюрприз. Приехал какой-то человек из Вятки и привез с собою нежного, как девушка, сына. Откуда-то он узнал, что мы — порядочные люди, и вот решился просить мою мать взять в нахлебники его сына, тоже приехавшего в Москву поступать в университет. Это были очень богатые люди, квартира наша была убога и темна и помещалась в глубоком подвале, но отец так заботился о нравственности своего сына, что не обратил на это внимания и поместил его у нас. Этого молодого человека звали Николай Иванович Коробов.[6] Он быстро сошелся с Антоном, и до самых последних дней оба они были близкими друзьями. Таким образом в нашей тесной квартире появилось сразу четыре студента, и все — медики, связанные единством науки и в высокой степени лично порядочные. Наша жизнь сразу стала легче в материальном отношении. Конечно, прибылей с нахлебников не было никаких: мать брала с них крайне дешево и старалась кормить их досыта. Зато, несомненно, поправился и стал обильнее наш стол.

Прошения о поступлении в университет подавались не позже 20 августа на имя ректора в правлении, в старом здании на Моховой, в отвратительном помещении внизу направо. Антон еще не знал хорошо Москвы, и туда повел его я. Мы вошли в грязную, тесную, с низкими потолками комнату, полную табачного дыма, в которой столпилось множество молодых людей. Вероятно, Антон ожидал от университета чего-то грандиозного, потому что та обстановка, в какую он попал, произвела на него не совсем приятное впечатление. Но то, что ему пришлось потом большую часть своего университетского курса проработать в анатомическом театре и в клиниках на Рождественке, и то, что в самом университете на Моховой он бывал очень редко, повидимому, изгладило в нем это первое впечатление. Впрочем, ему было не до впечатлений: на его долю с первых же шагов его в Москве свалилось столько обязанностей и труда, что некогда было думать о сентиментальностях.

С осени того же года мы все оптом переехали на другую квартиру по той же Грачевке, в дом Савицкого, на второй этаж, и разместились так: Зембулатов и Коробов — в одной комнате, Савельев — в другой, Николай, Антон и я — в третьей, мать и сестра — в четвертой, а пятая служила приемной для всех. Так как отец в это время жил у Гаврилова, то волею судеб его место в семье занял брат Антон и стал как бы за хозяина. Личность отца отошла на задний план. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не

надо лгать» и т. д. Началась совместная работа по поднятию материального положения семьи. Работали все, кто как мог и умел. Я, например, должен был вставать каждый день в пять часов утра, итти под Сухаревку, покупать там на весь день харчи, возвращаться с ними домой и потом уже, напившись чаю, бежать в гимназию. Часто случалось, что я от этого опаздывал на уроки или приходил в гимназию весь окоченевший, как сосулька. С этой квартиры началась литературная деятельность Антона.

Брат Александр, как я уже упомянул выше, не жил с нами. Мы даже очень редко его видели. Он бесконечно долго учился в университете, и что он в это время делал, чем занимался, мы не знали. У него было два товарища по математическому факультету — братья Леонид и Иван Т. Они были круглыми сиротами, были очень богаты, и душеприказчиком у них был инспектор народных училищ В. П. Малышев, живший в их же доме на 1-й Мещанской. Это была обширная помещичья усадьба с громадным садом и с массою сирени. Братья Т. жили по одну сторону ворот, в большом родительском доме, а В. П. Малышев — во флигеле, по другую. В описываемое время братья Леонид и Иван Т. достигли совершеннолетия и, будучи еще молокососами, приняли от Малышева все имение и капиталы, доставшиеся им от родителей. Начался кутеж. Сорили деньгами, напивались, держали около себя подозрительных женщин. С ними покучивал и наш Александр. Он познакомил с ними и нашего скромного брата Ивана, который держался в сторонке и вел себя так солидно, что резко выделялся на фоне этой развеселой

жизни. Это обратило на себя внимание В. П. Малышева, который, несомненно, сокрушался, видя, какое применение получали родительские капиталы. Ваня понравился ему. Разговорились. Узнав, что по обстоятельствам, совершенно от него не зависящим, он лишился возможности продолжать свое учение в гимназии и теперь готовится в учительскую семинарию военного ведомства, В. П. Малышев, как инспектор народных училищ Московской губернии, предложил ему держать экзамен сразу на приходского учителя и немедленно же отправляться на место. Иван (да и все мы) обрадовались этому. Он съездил в Звенигород, выдержал там незамысловатый экзамен, и вскоре же был назначен Малышевым в заштатный городок Воскресенск, Московской губернии. Он уехал туда, и наша семья убавилась на одного человека. Вот почему он не упомянут мною в числе обитателей нашей квартиры у Савицкого.

Брат Антон получал свою стипендию из Таганрога не ежемесячно, а по третям, сразу по сто рублей. Это не облегчало его стесненных обстоятельств, так как полученной суммой сразу же погашались долги, нужно было купить пальто, внести плату в университет и т. д., и на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и «Стрекоза».[7] Затем он что-то написал туда и стал покупать «Стрекозу» у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в «Почтовом ящике» этого журнала ответа на свое письмо. Это было зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелисты-

вал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ: «Совсем не дурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество». Затем, в марте 1880 года, в № 10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение это называлось в рукописи «Письмо к ученому соседу» и составляло собою в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье. Радость эта лично для меня усиливалась еще и тем, что как раз в это же время в журнале «Свет и тени» было помещено мое стихотворение, которое я перевел с немецкого из Рюккерта и за которое получил гонорар 1 рубль 20 копеек.

Как уже известно, мой брат Николай учился живописи на Мясницкой, против почтамта, в училище живописи, ваяния и зодчества. На вечеровые классы ходил туда каждый день из далекого Лефортова К. И. Макаров — учитель рисования в 3-й Военной гимназии (тогда кадетские корпуса назывались военными гимназиями). Ему хотелось стать настоящим художником, и он мечтал выйти в отставку и целиком отдаться искусству. Они сдружились с Николаем, и К. И. Макаров стал часто бывать у нас и полюбил нашу семью. Ходили пешком в Лефортово и мы к нему. Там мы познакомились с одним из воспитателей корпуса М. М. Дюковским.

человеком необычайно чутким к искусству и превратившимся потом в пламенного почитателя моих братьев Николая и Антона. Он дорожил каждой строчкой Антона и каждым обрывочком от рисунка Николая и хранил их так, точно собирался передать их в какой-нибудь музей. Когда Николай затевал какую-нибудь большую картину, например «Гулянье в Сокольниках» или «Мессалину», то Дюковский давал ему приют у себя в корпусе, и картины брата на мольбертах занимали всю его комнату. Он охотно позировал ему, надевал даже женское платье, когда требовалось рисовать складки, и смешно было смотреть на молодого человека с бородкой, одетого по-дамски. Между прочим, он увековечен Николаем на картине «Гулянье в Сокольниках» в образе молодого человека на первом плане, с букетом в руках. Некоторые [8] думают, что это — мой брат Антон, но это не верно.

К. И. Макаров действительно вышел в отставку, поехал в Петербург поступать в Академию художеств и в ту же осень скончался там от брюшного тифа. Таким образом в Лефортове остался у моих братьев только один друг, с которым они и не прерывали знакомства до самой гробовой доски. Нам было приятно бывать у М. М. Дюковского, хотя дойти до Лефортова от Грачевки составляло целый подвиг. Но я и Антон «перли» туда, несмотря на жестокий мороз, и как-то особенно жутко было проходить через Яузский мост, под которым всегда шумела незамерзавшая вода, и по окружавшим его тогда унылым пустырям. Об этом мосте Антон вспоминал, уже будучи известным писателем. Кроме гостеприимства Дюковского, нас привле-

кало к нему множество иллюстрированных журналов, которые он выписывал или брал из кадетской библиотеки и с которыми мы могли знакомиться только здесь и больше нигде. Мы брали иногда эти журналы к себе домой, и тащить громадные фолианты в переплетах по морозу было ужасно тяжело. Приходилось хвататься за уши, оттирать себе пальцы и топтать окоченевшими ногами.

М. М. Дюковский разошелся со своим кадетским начальством и вскоре перешел на службу в Мещанское училище на другом конце Москвы, на Калужской улице, где получил должность эконома, стол и квартиру. Братья Чеховы стали бывать у него и здесь, а самая квартира его превратилась в студию моего брата Николая.

Дюковский с нами едва не породнился. У моей матери была в Шуе двоюродная сестра, выданная замуж за местного городского голову Н. А. Закорюкина, у которого была дочь от первого брака, выданная замуж за некоего И. И. Лядова. Дочь эта умерла, оставив И. И. Лядову девочку, Юлиньку, которую стали воспитывать старики Закорюкины. В ту пору Юлиньке исполнилось восемнадцать лет. Возникла мысль выдать ее замуж за М. М. Дюковского, тем более, что Юлинька была очень милая, воспитанная девушка, да к тому же и с приданым, кажется, тысяч в сорок. Дюковский ничего не имел против и отправился вместе с братом Николаем в Шую представляться старикам. Утверждение некоторых биографов, что туда ездил с Дюковским не Николай, а Антон, неверно. Брак не состоялся, — тем не менее завязались отношения у Николая и Антона с отцом Юлиньки, И. И.

Лядовым, и его свояком Ф. И. Гундобиным, которые стали наезжать в Москву довольно часто и, как люди с довольно большими средствами, стали в ней покучивать. Они принялись за моих братьев и стали водить их по ресторанам, чтобы не сказать хуже, в известный тогда «Salon des Variétés» («Соленый вертеп») и по разным притонам, где шуйские толстосумы развертывали всю свою купеческую удаль. Гундобина Антон прозвал Мухтаром, и так сей почтенный шуянин именовался до своего восьмидесятилетнего возраста. Оба эти типа попали в печать и в некоторых рассказах послужили Чехову моделью. О том, как проводили время Лядов и этот Мухтар с моими юными, еще безусыми братьями, свидетельствует предпоследний абзац в рассказе Чехова «Салон де Варьетэ», помещенный в № 11 «Зрителя» за 1881 год, где все эти четыре лица названы по имени.

После «Стрекозы» Антон Павлович перешел сотрудничать в «Зритель». История этого перехода такова. Пока Антон Павлович работал в «Стрекозе», старший мой брат Александр пописывал в «Будильнике»,[9] где появился один из его рассказов, «Карл и Эмилия», обративший на себя внимание. Между тем, редакция «Стрекозы» стала то-и-дело возвращать брату Антону его статьи обратно с ехидными ответами в «Почтовом ящике», и, после того, как он поместил в ней около десятка статеек, тот же «Почтовый ящик» «Стрекозы» переполнил чашу терпения брата следующим ответом: «Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя, ведь, писать без критического отношения к делу». Антон обиделся и стал искать себе другой журнал. К «Будиль-

нику» и «Развлечению» он тогда относился недоверчиво, а подходящего органа не находилось. Если не ошибаюсь в хронологии, то как раз в это время группа московских писателей затеяла издавать литературный сборник «Бес», к участию в котором пригласили Антона и в качестве художника — Николая. Вместе с другим художником, А. С. Яновым, Николай с азартом принялся за иллюстрации, Антон же собирался написать туда кое-что, да так и не собрался. «Бес» вышел без его материала. Брат Антон остался без заработка, но его вскоре выручил «Зритель.[10] Как потом оказалось, журнал этот стал специально «чеховским», так как в нем все литературно-художественное производство целиком перешло в руки сразу троих моих братьев — Александра, Антона и Николая, причем Александр, кроме того, стал еще заведывать в «Зрителе» секретарской частью. Помещался этот журнал на Страстном бульваре, в доме Васильева, недалеко от Тверской. Я ходил туда после гимназии каждый день.

Основателем «Зрителя» был некто Вс. Вас. Давыдов, у жены которого была модная мастерская, а у него самого — небольшая типография. Он занимался, кроме того, фотографией и был необыкновенным энтузиастом. Планы его были всегда грандиозны и масштабы безграничны. Когда он что-нибудь затевал, то размахивал руками и говорил с таким увлечением, что брызгал во все стороны и то-и-дело свистал:

— И будет у меня — фюить!.. и то, и это... А потом я разверну это дело — фюить!.. так широко, что чертям тошно покажется — фюить! и т. д.

Тогда только что стала входить с употребление цинкография. Все существовавшие в Москве иллюстрированные журналы печатались литографически, только одна «Стрекоза» в Петербурге пользовалась цинкографическими клише (ее издавал цинкограф Герман Корнфельд).

Давыдов ухватился за цинкографию с увлечением и, выражаясь словами Антона Чехова, стал портить рисунки своих художников. Цинкографическую мастерскую он устроил сам, своими руками, и она была чрезвычайно примитивна. Три ящика, обмазанные смолой и наполненные раствором азотной кислоты, парами которой Вс. Вас. дышал с утра до вечера и с вечера до утра, и валик с черной краской, которой он накатывал переведенные на цинк рисунки, — вот и все устройство цинкографии. С такими средствами и без гроша за душой он начал издавать журнал «Зритель». Журнал этот должен был выходить (фюить!) по три раза в неделю, должен был (фюить!) затмить собою все другие московские журналы, должен был стоить (фюить!) всего только три рубля в год и с первого же номера приобрести (фюить!) не менее 20 000 подписчиков! Кажется, Вс. В. Давыдову помогали материально в этой затее служивший в одном из московских банков О. И. Селецкий и помощник присяжного поверенного Озерецкий, потому что, кроме братьев Чеховых да еще провинциального актера Стружкина, вечно толкались в редакции «Зрителя» и они. Стружкин писал стихи под псевдонимом «Шило», и брат Антон острил над ним, что это шило колет не острым концом, а тупым. Повидимому, у Озерецкого вовсе не было адвокатской практики, потому что для своей

рекламы он затевал фантастические дела. Так, по его проекту мои братья Антон или Александр, кто-нибудь из них двоих, должен был подать мировому судье жалобу на то, будто Стружкин разбил на его голове гитару. Процесс должен был перейти потом в мировой съезд, принять юмористическую окраску и попасть затем в печать, прямо из-под пера Антона или Александра, причем в судебном отчете собственного изготовления проектировалось привести и защитительную речь нашего «талантливого и подающего громадные надежды» адвоката Озерецкого.

Редакция «Зрителя» была более похожа на клуб, чем на редакцию. Сюда, как к себе домой, сходились каждый день ее члены, хохотали, курили, рассказывали анекдоты, ровно ничего не делали и засиживались до глубокой ночи. Служитель Алексей раз десять под ряд обносил всех чаем; тут же сидел сортировщик из почтамта Гущин, который почтительно прислушивался к разговорам и подбирал адреса подписчиков по трактам и местам. Каждую трактовую ведомость он подписывал так: «Сортир. Гущин». За это его прозвали Ватер-клозетом.

В это время в типографии у Давыдова случилась презабавная история. Кто-то печатал у него свой перевод романа польского писателя Крашевского[11] «Король и Бондаривна», но так как денег на расплату за печатные работы и за бумагу у переводчика не оказалось и эти книги нечем было выкупить, то все 2000 экземпляров так и остались у Давыдова на складе.

Они были связаны в пачки и составлены штабелями в углу. Сторож Алексей устроил на них для себя постель и, отдаваясь здесь в объятия

Морфея, стерег редакцию по ночам, хотя в ней, кроме кухонных столов и простых базарных табуреток, никакой другой мебели не было. Переводчик не являлся за своим заказом более года, так что уже и отчаялись в том, что он когда-нибудь выкупит своих «Короля и Бондаривну». Решили продать книги на пуды. Но тут я, гимназист, проявил свою сообразительность. Я спросил у Давыдова: почему бы этих самых «Короля и Бондаривну» не дать в качестве премии к журналу «Зритель» для привлечения подписчиков? Брат Антон одобрил этот план. В. В. Давыдов пришел в восхищение, замахал руками и в увлечении воскликнул:

— А что бы вы думали? фюить! их у меня всего только 2000 экземпляров, но ведь и подписчиков у меня больше не будет! А если их у меня, кроме розницы, будет 2000, то я буду миллионером. Фюить!

Решено и подписано. Брат Антон сочинил рекламу, и «Король и Бондаривна»... так и остались в редакции в штабелях составлять постель для сторожа Алексея, ибо подписки не было никакой.

Брат Николай с азартом и с увлечением принялся за иллюстрации к «Зрителю». Он нарисовал заглавную виньетку для журнала и массу рисунков и заставок, но первый номер вышел бледным в литературном отношении и успеха не имел. Брат Антон начал свое сотрудничество только с № 5 статейкой «Темпераменты», затем журнал целиком перешел под власть моих братьев. Николай рисовал буквально с утра и до вечера, Давыдов портил его рисунки тоже с утра и до вечера, причем приходилось их пере-

рисовывать вновь; Антон писал не скупясь, но журнал не шел, его трудно было выпускать по три раза в неделю, он стал запаздывать и, наконец, потерял доверие у публики. Дело погибало, и, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, Давыдов напечатал сообщение, что у художника Н. П. Чехова заболели глаза, что он почти ослеп и по этому поводу выход журнала в свет временно приостанавливается. Подписчики ответили рядом писем, что они желают художнику скорейшего выздоровления, но что из этого вовсе не следует, чтобы редакция могла воспользоваться их деньгами, далеко не удовлетворив их журналом.

Как раз в то время, когда издавался «Зритель», приезжала в Москву на гастроли знаменитая артистка Сара Бернар, [12] давшая собою обоим моим братьям богатый материал. Между прочим, тогда же в одном из номеров «Зрителя» в обе страницы был помещен превосходный рисунок брата Николая, на котором изображен московский Большой театр во время представления Сары Бернар. На этом рисунке — все действительные посетители спектакля: в левом углу — И. С. Аксаков, [13] рядом с ним через человека — директор Филармонии П. А. Шостаковский, [14] второй от зрителя в первом ряду — Гиляров-Платонов, [15] первый от зрителя во втором ряду — почтеннейший издатель В. В. Давыдов, о котором шла речь выше, и т. д.

Выход в свет «Зрителя» подтянул и другие московские журналы. Так, «Будильник», испугавшись конкуренции, стал печатать обложку золотой краской. После кончины «Зрителя» мои братья Антон и Николай перешли работать туда.

Впрочем, сколько помню, брат Антон сотрудничал в «Зрителе» всего только один год, и когда этот журнал потом возобновился, он уже больше в нем не участвовал. Он написал на него удивительно смешную сатиру под заглавием «Храм славы», которую и преподнес в рукописи самому В. В. Давыдову. О дальнейшей судьбе ее я, к сожалению, ничего не знаю.

Забыл сказать о деятельном члене редакции «Зрителя»— талантливом беллетристе и переводчике Андрее Михайловиче Дмитриеве,[16] писавшем под псевдонимом «барон Галкин». Он был редактором «Московской театральной газеты» и вместе с Н. Ланиным издавал «Русский курьер»; написал и издал несколько книг, поставил на сцене несколько пьес. Это был интереснейший живой человек, которого можно было заслушаться. К слову сказать, это он рассказывал моему брату Антону в моем присутствии эпизод о «бихорке», который тот использовал в своем рассказе «Иван Матвеевич», а самый герой этого рассказа, Иван Матвеевич, списан с моего же брата Ивана, когда тот еще до поступления своего в учителя, нуждаясь в заработке, ходил через всю Москву к жившему тогда в Сокольниках писателю П. Д. Боборыкину записывать под его диктовку.

IV

«Будильник» и его руководители. — Н. П. Кичеев и Ф. Ф. Попудогло. — Несколько слов о М. Евстигнееве. — П. А. Сергеенко. — Лиодор Иванович Пальмин. — Встреча Антона с Лейкиным. — «Дядя Гиляй» (В. А. Гиляровский) и его причуды. — На свадьбе у И. А. Белоусова. — Журнал «Москва» И. И. Кланга. — «Медицинское свидетельство» для получения гонораров брату. — «Новости дня» А. Я. Липскерова. — Происхождение «Ненужной победы». — Н. Л. Пушкарев. — «Свет и тени». — Пушкаревская «Европейская библиотека». — Мое участие в «Мирском толке». — «С Гатцуком знаком, с Прудоном не согласен и при часах ходит». — Предприятие Пушкарева. — На сеансе гипнотизера Германа. — Издатели братья М. и Е. Вернеры и их «Сверчок».

«Будильник» в то время издавала Л. Н. Уткина, а редактировал его А. Д. Курепин,[1] который на каждый обращенный к нему вопрос всегда отвечал вопросом же: «Но почему же? почему же?».

Большую роль в «Будильнике» играл также и Николай Петрович Кичеев. Редакция помещалась в Леонтьевском переулке, в доме Мичинера. Курепин вел, кроме того, в «Новом времени» московский фельетон, а Кичеев вел такой же фельетон сначала в «Голосе», а потом в «Новостях». Он был большой театрал, писал театральные рецензии и сам пописывал пьесы. Между прочим, он дал мне заработать: я должен был четыре раза под ряд переписать пьесу «Война с немцем», которую он сочинил вместе с Ф. Ф. Попудогло. Пьеса эта вышла тяжеловесной, публике не понравилась и после первого же представления была снята с репертуара. Кичеев уплатил мне за работу 25 рублей, которые я предназначил в уплату за учение. Но братьям понадобились эти деньги, они растратили их, и когда пришел последний срок платежа в гимназию и инспектор сказал, чтобы я завтра уже и не являлся, то оба брата, Николай и Антон, стали бегать по редакциям и выклянчивать гонорар. Поздно вечером, когда я уже спал, они вернулись домой, разбудили меня и вручили мне тяжелый сверток, который я чуть не упустил из рук. Это были мои 25 рублей — исключительно в одних серебряных гривенниках. Как оказалось потом, мои братья не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья и арестовали. Эти деньги я нес в гимназию в ранце, за плечами, и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками. Он допытывался от меня, откуда я их взял, но я отговорился незнанием; сказал, что дали родители.

Кичеев был очень милый, воспитанный человек, с которым было приятно провести время и которого интересно было послушать. Он бывал у моих братьев, распространяя вокруг себя запах великолепных духов; и я бывал у него в «Будильнике», причем он угощал меня крепким, как деготь, чаем, который я пил из вежливости. Для переписки кичеевской пьесы меня порекомендовал ему брат Антон, для которого я два раза переписывал его тяжеловесную драму, так и не увидевшую вовсе сцены. Я не помню ее заглавия, но это было нечто невозможное, с конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд, и так как я был тогда еще гимназистом, то при переписке у меня от волнения холодело под сердцем. Драму эту брат Антон, тогда студент II курса, лично отнес на прочтение М. Н. Ермоловой [2] и очень хотел, чтобы она поставила ее в свой бенефис. Но пьеса вернулась обратно, и мои труды пропали даром. Эту пьесу издал потом Центрархив.

Упомянув о Кичееве, хочу написать два слова об его сотруднике Федоре Федосеевиче Попудогло. Это был очень популярный человек среди московской пишущей братии. Он представлял собою старожила, которому было известно все, отличался большою личной порядочностью, но неудачи преследовали его со всех сторон, и он едва зарабатывал себе литературным трудом на пропитание. Он водил компанию с известным тогда сочинителем книжек для народа Мишей Евстигнеевым, [3] которого страшно эксплоатировали книгопродавцы. На каждой ярмарке и по всему лицу земли родной можно было встретить произведения М. Евстигнеева, продававшиеся

прямо с рогожки, и купить за пятачок любое из них, вроде «Улыбки в пять рублей» или «Мосье фон-герр Петрушки». Он писал свои произведения исключительно только для книгопродавцев, имевших дело с офенями, и получал от них гонорар от 50 коп. до 1 руб. 50 коп. за книжку. В сущности говоря, этот Миша Евстигнеев своим дарованием пробивал дорогу таким будущим издательствам, каким было впоследствии громадное дело И. Д. Сытина.

Встречаясь в редакциях с Ф. Ф. Попудогло, Антон Павлович сошелся с ним и почему-то, как он сам после говорил и выразился даже в одном из своих писем, стал ходить к нему по вечерам «яко тать в нощи», точно хотел скрыть от когонибудь эти свои визиты. Попудогло в то время хворал, хотя все еще был на ногах, и Антон Павлович принялся за лечение. С первых же шагов он поставил диагноз рака в прямой кишке и, как оказалось потом, не ошибся. Попудогло умер, и Антон Павлович потерял в нем друга и собеседника. Библиотека Попудогло, по воле последнего, досталась Антону Павловичу, который оплатил ее стоимость его вдове, — я помню, как к нам привезли громадный сундук, битком набитый книгами. Я и брат Антон стали разбирать их. К сожалению, все это оказалось самым типичным книжным хламом, не имевшим никакой цены даже для букиниста: разные каталоги, книжки Миши Евстигнеева, — и ничего ценного. Антон Павлович, я помню, отложил всего только с десяток книг, из которых «Песни, собранные Рыбниковым» и «Тишь да гладь» Бабикова находятся в настоящее время в Таганрогской библиотеке, а книга «Командные слова

для совершения главнейших на корабле действий» дала Чехову материал для роли Ревунова-Караулова в его водевиле «Свадьба». Все остальное пришлось попросту сжечь.[4]

Кроме моих братьев, в то время в «Будильнике» сотрудничали: художник Н. Чичагов, подписывавшийся монограммой «Т. С.», П. А. Сергеенко, писавший под псевдонимом «Эмиль Пуп», В. А. Гиляровский («Дядя Гиляй») и поэт Л. И. Пальмин.

П. А. Сергеенко[5] долго жил за границей, затем возвратился в Россию, стал сотрудничать в юмористических журналах и в конце концов застрял в тине толстовщины. Как пламенный почитатель Л. Н. Толстого, он написал о нем книгу, которой сам придавал очень серьезное значение. Он был нашим земляком, со всеми нами был на «ты» и слыл остроумцем и даже чудаком. Про него ходили разные анекдоты, и брат Антон рассказывал мне, что он любил поиздеваться над жандармами и вообще над полицией. Кроме того, он выпустил в свет две или три драмы, из которых одна, написанная, правда, в сотрудничестве с И. Н. Потапенко, имела несомненный успех; кроме того, он подбивал меня в 1902 году издавать вместе с ним толстый журнал. Я совсем уже было согласился, да меня разговорил брат Антон. Но самым важным для Антона Чехова деянием Сергеенко была помощь в продаже А. Ф. Марксу[6] полного собрания его сочинений. Об этой сделке в свое время было много разговоров и в обществе, и в печати, и повторять их здесь я нахожу неуместным.

Л. И. Пальмин[7] был сутул, ряб, картавил букву «р» и всегда был так неряшливо одет, что

на него было жалко смотреть. Он был благороден душой и сострадателен. Особую слабость его составляли животные. Всякий раз, как он приходил к нам, вместе с ним врывалось в дверь сразу пять, шесть собак, которая без ноги, которая без глаза, которая с расчесанной до крови паршивой спиной. Всех их он подбирал по дороге и давал им у себя приют. Это был высокоталантливый, но совершенно уже опустившийся человек. В свое время он участвовал в «Библиотеке для чтения», был близок к «Искре», обладал прекрасным стихом, изящной формой, но несчастная страсть к пиву (именно к пиву, а не к вину) свела его на нет... В дни нашего знакомства с ним он не был еще стариком, но дряхлость уже клонила его к земле. Он жил всегда где-то на задворках, в переулках с ужасными названиями, так что к нему даже страшно было ходить. Жил он с какой-то простой, неряшливой бабой Авдотьей, которую брат Антон прозвал Фефелой, — так за ней это имя и осталось навсегда. Она тоже любила выпить и, чтобы иметь к этому возможность, подзадоривала и Пальмина.

— Лиодор Иванович, вам не пора еще пиво пить?

Он знал хорошо языки, переводил классиков, и его стихи всегда доставляли читателю удовольствие. Однажды брат Антон обратился к нему с просьбою прислать ему новый устав какого-то общества или учреждения. Л. И. прислал его при специальном стихотворении, из которого я помню только некоторые строки:

Коллега, милый мой Антоша,
Сейчас немножечко устав,
И волосы себе ероша,

По обещанью шлю устав.
Сейчас Калашникова пиво
Юмористически игриво
В стакане искрится на дне.
И в общем жить не худо мне.
Как мореход на острый риф, мы,
Поэты, лезем все на рифмы...

и т. д.

Дальше не помню. [8]

Этот поэт Л. И. Пальмин сыграл в литературной судьбе Антона Чехова очень большую роль, хотя это и вышло совсем случайно. Он пописывал стишки в петербургских «Осколках», которые издавал известный юморист Н. А. Лейкин. [9] В один из своих приездов в Москву Лейкин затащил Пальмина обедать в ресторан Тестова, и когда оба они ехали оттуда на извозчике, то Пальмин увидал шедших по тротуару двух моих братьев, Николая и Антона, и указал на них Лейкину:

— Вот идут два талантливых брата: один из них — художник, а другой — литератор. Сотрудничают в здешних юмористических журналах.

Лейкин остановил извозчика. Пальмин окликнул моих братьев, и они познакомились с Лейкиным, который тут же пригласил Антона сотрудничать в его «Осколках». Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалась мало-по-малу его слава.

На В. А. Гиляровском [10] стоит остановиться подольше.

Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал:

— Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу приключений в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен.

Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и т. д. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли

жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу «На дне», — Гиляровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек. Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастнуть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину вывоpотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри...

В мае 1885 года я кончал курс гимназии и держал экзамены зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался только я один. Каждый день, как уже будущий студент, я ходил со Сретенки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали 28 копеек. Кормили скупо и скверно, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова.

В одно из таких возвращений, когда я переходил через Б. Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул:

— Эй, Миша, куда идешь?

Это был В. А. Гиляровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортерскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой.

— Садись, я тебя подвезу.

Я обрадовался и сел.

Но, отъехав немного, Гиляровский вдруг вспомнил, что ему нужно в «Эрмитаж» к Лентовскому,[11] и вместо того, чтобы попасть к себе на Сретенку, я вдруг оказался на Самотеке, в опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в пять часов вечера, а шел уже именно шестой, и мы как раз попали к началу.

— Посиди здесь, — сказал мне Гиляровский, введя в театр, — я сейчас приду.

Поднялся занавес, пропел что-то непонятное хор, а Гиляровского все нет и нет. Я глядел на оперетку и волновался, так как ходить по «Эрмитажам» гимназистам не полагалось. Вдруг ко мне подошел капельдинер и потребовал билет. Конечно, у меня его не оказалось, и капельдинер взял меня за рукав и, как зайца, повел к выходу. Но на мое счастье точно из-под земли вырос Гиляровский.

— В чем дело? Что такое?

— Да вот спрашивают с меня билет... — залепетал я.

— Билет? — обратился Гиляровский к капельдинеру. — Вот тебе, миленький, билет!

И, оторвав от газеты клочок, он протянул его вместо билета капельдинеру. Тот ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место.

Но Гиляровскому не сиделось.

— Пойдем, мне пора.

И мы вышли с ним из «Эрмитажа».

— Я, кажется, хотел подвезти тебя домой... — вспомнил Гиляровский. — Где же наш извозчик?

Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, так как его отогнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь.

Гиляровский подошел к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю.

— Дурак, чорт! Слюни распустил! Еще успеешь выспаться!

Извозчик очухался, и мы поехали.

Нужно было уже сворачивать с Садовой ко мне на Сретенку, когда Гиляровский вдруг вспомнил опять, что ему необходимо ехать зачем-то на Рязанский вокзал, и повез меня насильно туда. Мы приехали, он рассчитался с извозчиком и ввел меня в вокзал. Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда и стал медленно отъезжать от станции.

— Прощай, Мишенька! — крикнул он мне.

Я побежал рядом с вагоном.

— Дай ручку на прощанье!

Я протянул ему руку.

Он схватился за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе, и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона.

Поезд уже шел полным ходом, и на нем вместе с Гиляровским уезжал куда-то и я. Силач увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки, и это сильно меня беспокоило.

Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на местах. Гиляровский вытащил из кармана пук газет и стал читать. Я постарался казаться обиженным.

— Владимир Алексеевич, куда вы меня везете? — спросил я его наконец.

— А тебе не все равно? — ответил он, не отрывая глаз от газеты.

Вошли кондуктора и стали осматривать у пассажиров билеты. Я почувствовал себя так, точно у меня приготовились делать обыск. У меня не было ни билета, ни денег, и я уже предчувствовал скандал, неприятности, штраф в двойном размере.

— Ваши билеты!

Не поднимая глаз от газеты, Гиляровский, как и тогда в театре, оторвал от нее два клочка и протянул их обер-кондуктору вместо билетов. Тот почтительно пробил их щипцами и, возвратив их обратно Гиляровскому, проследовал далее. У меня отлегло от сердца. Стало даже казаться забавным.

Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке и крупным, густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. Я не был за городом еще с прошлого года, и так приятно было дышать запахом сосен и свеженьких березок. Было уже темновато, и ноги утопали в песке. Мы прошли версты с две, и я увидел перед собою поселок. Светились в окошках огни. По-деревенски лаяли собаки. Подойдя к одному из домиков с палисадником, Гиляровский постучал в окно. Вышла дама с ребенком на руках.

— Маня, я к тебе гостя привел, — обратился к ней Гиляровский.

Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе, тянулись лавки, стоял большой стол; другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом все было вымыто.

— Ну, здравствуй, Маня! Здравствуй, Алешка!

Гиляровский поцеловал их и представил даме меня. Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алешка, мальчик по второму году.

— Он у меня уже гири поднимает! — похвастался им Гиляровский.

И, поставив ребенка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щеки и поднял одну из них со стола. Я пришел в ужас. Что, если он выпустит гирю из рук и расшибет себе ею ноги?

— Вот! — воскликнул с восторгом отец. — Молодчина!

Таким образом я нежданно-негаданно оказался на даче у Гиляровского в Краскове.

Я переночевал у него, и Мария Ивановна не отпустила меня в Москву и весь следующий день. Мне так понравилось у них, что я стал приезжать к ним между каждых двух экзаменов. В один из дней, когда я гостил в Краскове, Гиляровский вдруг приехал из Москвы с громадной вороной лошадью. Оказалось, что она была бракованная, и он купил ее в одном из полков за 25 рублей. Вскоре выяснилось, что она сильно кусалась и сбрасывала с себя седока. Гиляровский нисколько не смутился этим и решил ее «выправить» по-своему, понадеявшись на свою физическую силу.

— Вот погоди, — сказал он мне, — ты скоро увидишь, как я буду на ней ездить верхом в Москву и обратно.

Лошадь поместили в сарайчике, и с той поры только и стало слышаться, как она стучала копытами об стены и ревела, да как кричал на нее Гиляровский, стараясь отучить ее от пороков. Когда он выходил к ней и запирал за собой дверь, мне казалось, что она его там убьет; беспокоилась и Мария Ивановна. Гиляровский же и лошадь поднимали в сарайчике такой шум, что можно было подумать, будто они дерутся там на кулачки; и действительно, всякий раз он выходил от своего Буцефала весь потный, с окровавленными руками. Но он не хотел сознаться, что это искусывала его лошадь, и небрежно говорил:

— Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки.

В конце концов пришел какой-то крестьянин и увел лошадь на живодерку. Гиляровский потерял надежду покататься на ней верхом и отдал ее даром.

Он не прерывал добрых отношений с моим братом Антоном до самой его смерти и нежно относился ко всем нам. Бывал он у нас и в Мелихове в девяностых годах. Всякий раз, как он приезжал туда, он так проявлял свою гигантскую силу, что мы приходили в изумление. Один раз он всех нас усадил в тачку и прокатил по всей усадьбе. Вот что писал брат Антон А. С. Суворину об одном из таких его посещений Мелихова: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал! Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна» (8.IV-92 г.).

Я не помню Гиляровского, чтобы когда-нибудь он не был молод, как мальчик. Однажды он чуть не навлек на нас неприятное подозрение. Дело было так. Жил-был в Москве, в Зарядье, портной Белоусов. У него был сын Иван Алексеевич,[12] впоследствии известный поэт и переводчик и член Общества любителей российской словесности. Тогда он тоже был портным и между делом робко пописывал стишки. Задумал отец женить этого милейшего Ивана Алексеевича. Сняли дом у какого-то кухмистера, «под Канавою» в Замоскворечье, позвали оркестр, пригласили знакомых и незнакомых, — и стали справлять свадьбу. Думаю, что гостей было человек более ста. Тогда мой брат Иван Павлович служил в Мещанском училище, в котором Белоусов обшивал кое-кого из учителей. Обшивал он, спасибо ему, тогда и меня. И вот он пригласил к себе на свадьбу всех нас, братьев Чеховых, но отправились мы трое: Антон, Иван и я. Вместе с нами пошел туда и Гиляровский. Там мы познакомились с приятелем жениха, Николаем Дмитриевичем Телешовым,[13] молодым, красивым человеком, который был шафером и танцовал, ни на одну минуту не расставаясь с шапокляком в течение всей ночи. Это был известный потом писатель, литературный юбилей которого не так давно трогательно справлялся в Союзе писателей. Когда мы возвращались уже под утро домой, — братья Антон, Иван и я, Телешов и Гиляровский, — то нам очень захотелось пить. Уже светало. Кое-где попадались ночные типы, кое-где отпирались лавченки и извозчичьи трактиры. Когда мы проходили мимо одного из таких трактиров, брат Антон вдруг предложил:

— Господа, давайте зайдем в этот трактир и выпьем чаю!

Мы вошли. Все пятеро, во фраках, мы уселись за неопрятный стол. Трактир только что еще просыпался. Одни извозчики, умывшись, молились богу, другие пили чай, а третьи кольцом окружили нас и стали нас разглядывать. Гиляровский острил и отпускал словечки. Брат Антон Павлович и Телешов говорили о литературе.

Вдруг один из извозчиков сказал:

— Господа, а безобразят...

Конечно, он был прав, но Гиляровскому захотелось подурачиться, он вскочил с места и пристально вгляделся в лицо извозчика.

— Постой, постой,— сказал он в шутку,— это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги?

Что тут произошло! Все извозчики повскакали, всполошились, не знали, что им делать, хватать ли Гиляровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата-извозчика, или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой: Гиляровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы. Помнит ли об этом Телешов? Впрочем, он так был увлечен разговором с Антоном Павловичем, что, вероятно, не обратил на всю эту сцену никакого внимания.

Одновременно с «Будильником» Антон Павлович сотрудничал в 1882 году и у И. И. Кланга. Кланг был литографом. Вероятно, литография приносила очень мало дохода, потому что он рисовал посредственные карикатуры, которые помещал во второстепенных журналах. Впрочем, все

тогдашние московские иллюстрированные журналы были второстепенными. Я так полагаю, что для того, чтобы усилить свои средства и дать постоянную работу своей литографии, И. И. Кланг затеял в 1882 году издание большого иллюстрированного художественного журнала «Москва»,[14] в котором все иллюстрации должны были изготовляться в красках. Это была по тогдашнему времени довольно смелая и оригинальная затея. Были приглашены в качестве художников мой брат Николай, Н. Богатев, И. Левитан и др., а к участию в литературном отделе — мой брат Антон. На первых номерах журнала И. И. Кланг постарался. Они действительно для не особенно требовательного подписчика могли казаться художественными. Некоторые рисунки в красках были положительно хороши. Брат Николай поместил там, между прочим, репродукцию с своей громадной картины «Гулянье в Сокольниках» и, кроме того, презабавную иллюстрацию «Он выпил»,[15] в которой позировал ему наш старший брат Александр, действительно страдавший тогда влечением к алкоголю, но отнюдь не Антон, как это некоторые утверждают в печати. Брат Антон выступил в «Москве» почему-то не с рассказом, а с рецензией, но затем смилостивился и дал туда целую повесть «Зеленая коса», которую отлично иллюстрировал брат Николай. Но недостаток средств для хорошей рекламы и равнодушие публики не дали «Москве» окрепнуть, и она скоро увяла. По каким-то соображениям И. И. Кланг переименовал ее в «Волну», но не помогло и это. Дело прекратилось. Я долго ходил в редакцию получать для Антона причитавшийся ему гонорар, но это не всегда удавалось,

так как издатель, по словам служившего у него в конторе мальчика Вани Бабакина, тотчас же через задний ход уходил из дому.

Вообще мне часто приходилось получать за брата Антона гонорар. Он вечно был занят, ему нехватало времени, и я был его постоянным адвокатом. Он даже выдал мне для этого шуточную доверенность следующего содержания:

«Медицинское свидетельство

Дано сие Студенту Императорского Московского Университета Михаилу Павловичу Чехову, 20 лет, православного исповедания, в удостоверение, что он состоит с 1865 года моим родным братом и уполномочен мною брать в редакциях, в коих я работаю, денег, сколько ему потребно, что подписью и приложением печати удостоверяю.

Врач А. Чехов

Москва 1886 г.
Января 15-го дня».

С этим «медицинским свидетельством» я ходил получать для брата Антона гонорар в «Новости дня». Ах, что это были за дни тяжкого для меня испытания! За свой роман «Драма на охоте», печатавшийся в «Новостях дня» в 1884 году, брат Антон должен был получать по три рубля в неделю. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку.

— Чего вы ждете? — спросит наконец издатель.

— Да вот получить три рубля.

— У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите, или новые брюки? Тогда сходите

к портному Аронтрихеру и возьмите у него брюки за мой счет.

«Новости дня», или, как их называл брат Антон, «Пакости дня», издавал Абрам Яковлевич Липскеров.[16] Еще до издания газеты он был одним из лучших, если не единственным, стенографом и записывал в окружном суде судебные процессы. Знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако, который составлял тогда себе репутацию своими защитительными речами, брал его с собою на провинциальные процессы, где А. Я. Липскеров записывал речи Плевако слово в слово, и затем они появлялись в печати в столичных газетах.

Я плохо припоминаю, где помещалась редакция «Новостей дня» в то время, когда я приходил туда получать по три рубля в неделю, — кажется, где-то на Тверской, недалеко от Газетного переулка. Она состояла всего только из одной комнаты, где принималась подписка, шумели сотрудники и где стоял рояль, и под этот шум племянница или свояченица Липскерова разыгрывала гаммы. Около нее стояла ее учительница музыки и, стараясь перекричать сотрудников, отбивала ногою такт и отсчитывала:

— Раз-два-три-четыре... Раз-два-три-четыре...

Бывало, сидишь-сидишь в этой обстановке, дожидаясь трех рублей, и так вдруг захочется обратно домой!

Дело «Новостей дня», впрочем, скоро поправилось. Как ходили слухи, эта газета стала довольно безошибочно сообщать, какие именно лошади на предстоящих скачках должны были выиграть. Тотализатор сделал свое дело, и прежние недостатки сменились полным благополу-

чием: у «Новостей дня» появился у Красных ворот целый дворец, а сам издатель стал разъезжать по городу на породистых лошадях.

Большой роман «Драма на охоте» был у Антона Чехова не первый. Еще раньше, в «Будильнике», печатался его роман «Ненужная победа», происхождение которого было совершенно случайно. Брат Антон поспорил с редактором «Будильника» А. Д. Курепиным о том, что напишет роман из иностранной жизни не хуже появлявшихся тогда за границей и переводившихся на русский язык. Курепин это отрицал. Порешили на том, что брат Антон приступит к писанию такого романа, а Курепин оставляет за собою право перестать печатать его в любой момент. Но роман оказался настолько интересным и публика так заинтересовалась им, что он благополучно был доведен до конца.[17] В редакцию, сколько я припоминаю, поступали письма с запросами, не Мавра ли Иокая[18] этот роман, или не Фридриха ли Шпильгагена?

Были и еще журналы в Москве, в которых сотрудничали мои братья Николай и Антон, это — «Свет и тени»[19] и «Мирской толк». Издавал их Н. Л. Пушкарев. Это был высокоинтеллигентный и всесторонне образованный человек и весьма популярный в свое время поэт-сатирик во вкусе Некрасова. Его обличительные стихотворения, вроде «Гадко, мерзко, неприлично», «Ну, так это ничего» и «Три няньки трех наций — все разной закваски» говорились с любой эстрады; его стихотворения не сходили с уст, но едва ли кто знал их автора. Не было актера по всему лицу земли родной, который не декламировал бы его произведений со сцены. Кроме

того, он был и драматургом; его пьеса «Ксения и Лжедимитрий» шла в театрах.

Это был человек чрезвычайно предприимчивый и изобретательный. У него на Бригадирской улице в Москве был свой собственный дом, в котором помещались его типография, литография, редакция и довольно обширная квартира. Сперва он издавал журнал «Московское обозрение», которое выпускал еженедельно книжками и в котором печатался уголовный роман Шкляревского «Утро после бала или убийство в Китайских банях», написанный на сюжет волновавшего тогда московские умы сенсационного процесса. Затем, основав юмористический журнал «Свет и тени», Пушкарев переименовал «Московское обозрение» в «Мирской толк» и стал выпускать его совместно со «Светом и тенями». Это был очень чуткий журнал, отзывавшийся на все события в общественной и политической жизни, почему и понес на себе две кары: один раз он был приостановлен на целые полгода, а в другой ему надолго была воспрещена розничная продажа. Конечно, это сильно подорвало материальные средства журнала, хотя общественное мнение целиком было на стороне Пушкарева и в особенности за рисунок, помещенный после 1 марта 1881 года и изображавший виселицу, над которой была надпись: «Наше оружие для решения насущных вопросов».

Но Пушкарев не унывал: он основал еще толстый журнал «Европейскую библиотеку»,[20] который выходил еженедельно книжками в 12—15 печатных листов; каждая из этих книжек содержала в себе вполне законченный роман какого-

нибудь иностранного писателя в русском переводе. К чести этой «Европейской библиотеки» нужно сказать, что она первая познакомила русскую публику с произведениями таких писателей, как Гектор Мало, Карл-Эмиль Франсоз, А. Додэ, А. Терье, Э. Золя и Пьер Лоти. Нужно было удивляться, как Пушкарев мог выпустить за один год такое громадное количество книг, напечатанных на таком количестве бумаги, да еще при тогдашних средствах. «Европейская библиотека» просуществовала, кажется, года полтора и затем прекратилась: подписчикам некогда было читать такое громадное количество книг; достаточно было бы и двенадцати в год, а их издавалось целые пятьдесят. «Мирской толк» оставил по себе хорошую память изданием «Песен старого моряка» Кольриджа [21] с превосходными рисунками Густава Дорэ.

В «Мирском толке» брат Антон поместил повесть «Цветы запоздалые»; а Николай — целый ряд рисунков и карикатур в «Свете и тенях». Помещал там под фирмой брата Николая свои рисунки и я, а мои ребусы печатались там на премию. В «Европейской библиотеке» должен был появиться мой перевод Морица Гартмана, [22] но «по независящим от редакции причинам» рукопись вернулась из цензуры без одобрения. Я и не воображал, что, будучи гимназистом, мог переводить с немецкого такие зловредные вещи. Воображаю, как бы переполошилось мое гимназическое начальство! Вообще я в те времена подавал большие надежды на писательство. Так, я скомпановал целый роман и отнес его в «Газету А. Гатцука», [23] и он появился бы в печати в этой нетребовательной газете, если бы ее не

прикрыли. Я тогда много читал социальную литературу, за журнальную работу мне кое-что перепадало, и я даже приобрел себе часы. Иметь тогда карманные часы, да еще гимназисту, и читать такие предосудительные книги, как сочинения Прудона, [24] казалось верхом свободомыслия и вольнодумства. И брат Антон не оставлял меня ни на минуту в покое и все время вышучивал.

— С Гатцуком знаком, с Прудоном не согласен и при часах ходит.

А надо заметить, что карманных часов тогда не было даже и у Антона.

Пушкарев был очень отзывчив на все новое в науке, искусстве и литературе. Так, когда приехал в Москву известный тогда гипнотизер Герман и ему было запрещено показывать свои сеансы публично, то Пушкарев предложил ему свой дом и пригласил на них московских представителей печати и профессоров. Было условлено так, что мои братья от имени Пушкарева пригласят на этот вечер известного профессора Остроумова.

Герман делал поразительные вещи, приводившие в недоумение профессоров. Так, он не только усыплял гипнотизируемого, но приостанавливал во всем его теле кровообращение. Загипнотизированному прокалывали вены, делали надрезы на теле — и кровь не текла, сердце переставало биться, деятельность мозга прекращалась. Но что было страннее всего и что приводило в волнение даже профессора Остроумова, — так это то, что Герман устроил один раз так, что у его клиента при полном прекращении во всем теле кровообращения и при полной остановке деятельности сердца все-таки не прекра-

щалась деятельность головного мозга и объект мог видеть, обонять, слышать и даже отвечать на задаваемые ему вопросы. Таким образом тут же возник неразрешимый вопрос: как мог правильно функционировать в человеке головной мозг при полном параличе его сердца и легких?

— Вот тут-то и загвоздка! — громко воскликнул Остроумов.

Было страшно смотреть, когда Герман вверг своего клиента в состояние тетануса и когда человек весь одеревенел, сделался как камень или бревно и его положили затылком на один стул, а пятками на другой и три взрослых человека сели на него, как на скамью. И он сам этого не почувствовал и очень удивился, когда его потом разбудили и рассказали ему обо всем. Тогда все это было внове, считалось необъяснимым и даже сами профессора становились втупик и искренно восклицали: «Загвоздка!»

Повидимому, Н. Л. Пушкареву, как натуре всесторонне одаренной, все очень скоро надоедало; или же природа его была настолько широка, что он не мог остановиться на чем-нибудь одном. Страстный рыболов, он изобретал какие-то самодействующие подсекатели, которые продаются в магазинах и теперь, и никто не знает, что их изобрел именно он; открыл фотографию на Лубянке; затем весь отдался изобретенной им «пушкаревской свече», которою потом за бесценок воспользовались иностранцы и которая приобрела себе право гражданства на всем земном шаре в виде обычных бензинных и спиртовых горелок, которыми пользуется каждая хозяйка при варке кофе и при завивке волос. Но все эти затеи и неудачи с журналами скоро разо-

рили Н. Л. Пушкарева вконец, и он умер, как говорили, в глубокой нищете.

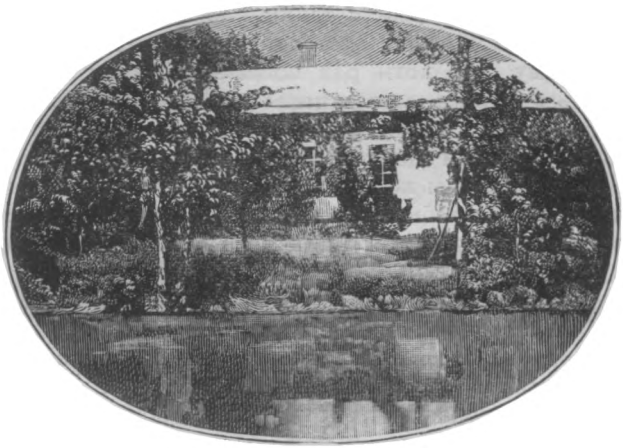
Из журналов, в которых сотрудничал Антон Павлович, мне хочется еще остановиться на «Сверчке». Этот французистый юмористический журнальчик издавали два брата Вернеры, [25] Евгений и Михаил. Это были бодрые, полные сил молодые люди, долгое время прожившие за границей, окунувшиеся в коммерческие дела и приехавшие в Россию, чтобы делать дело «по-настоящему». Они основали журнал «Вокруг света» и благодаря ему познакомили публику с произведениями Луи Буссенара, Стивенсона, Райдера Хаггардта и др. Это был очень занимательный тогда журнал, который выписывал каждый гимназист. Дела их пошли отлично. Они приобрели от А. Каринской громадную типографию на Арбате и стали расширять дело еще больше. Кроме «Вокруг света» они стали издавать еще два журнала: юмористический «Сверчок» и детский «Друг детей». Но тут-то они и нажглись.

Если в журнале «Вокруг света» они ухватили вкус и требование читателя, как говорится, за хвост, то в издании юмористического и детского журналов они оказались слабоваты. Правда, внешне «Сверчок» был очень оригинален. Он представлял собою копию одного из парижских журналов, причем братья Вернеры, надо отдать им честь, первые ввели в России раскрашивание рисунков не литографически, а акварелью, посредством трафаретов. Но по содержанию «Сверчок» был бледноват, а «Друг детей» (в нем сотрудничал и я) был и вовсе не интересен. Детям он положительно не нравился и не мог

конкурировать даже с таким плохо издававшимся журналом, как «Детский отдых» Истомина. Но тому, кто хоть раз побывал в типографии братьев Вернер, могло показаться, что он попал нечаянно за границу. Дело кипело, машины гремели, газовый двигатель вспыхивал и пыхтел, и сами Вернеры не сидели барами, сложа руки и дожидаясь прибылей, а оба, по-рабочему одетые в синих блузах, работали тут же, не покладая рук.

Пустились они и в издательство беллетристики. Между прочим, они издали книгу рассказов брата Антона Павловича «Невинные речи», для которой обложку рисовал наш брат Николай. Все издания их отличались оригинальностью и изяществом, и при более счастливых обстоятельствах они могли бы сделать многое. Главное — то, что они сами по уши уходили в самую черную работу. Но когда они освобождались от своих дел, то, как истые европейцы, они появлялись в обществе в самых изысканных модных костюмах, и Антон Павлович подтрунивал над ними в своих «Осколках московской жизни», которые он помещал в лейкинском журнале «Осколки». Он писал про них так: «Вы думаете, что легко издавать журналы? Это вам не то, что носить жилетки с лошадками». Братья Вернеры не знали, что это писал именно он, и жаловались ему же «на чьи-то выходки по их адресу».

Братья Вернеры тоже потом разорились; их «Вокруг света» перешел к И. Д. Сытину, а «Сверчок» и «Друг детей» прекратили свое существование. Кажется, оба брата тогда же уехали за границу.



V

В Воскресенске у брата Ивана. — «Кукуевская катастрофа» и реприманд с Антоном. — П. А. Шостаковский. — «Сказки Мельпомены» на прилавках детской литературы. — В Чикине у врача П. А. Архангельского. — Источники чеховских сюжетов. — История с «атаманом» Ашиновым. — Звенигородские впечатления 1884 года в сюжетах Чехова. — Антон Павлович и доктор П. Г. Розанов. — Встреча с Скрябиным. — Первые пациенты брата. — Блюстители звенигородского порядка. — Близость к семейству Киселевых. — «Бабкинское» в творчестве Чехова. — В мире литературных и музыкальных впечатлений. — М. В. Бегичева. — Киселева и предложение Чайковского. — Замысел «Бэлы» с либретто брата. — Приезд Григоровича. — Прокази Чехова и Левитана. — Маркевич в Бабкине. — Сотрудничество Левитана с братом Николаем. — Романы Левитана. — Детали для сюжета «Чайки».

Как я уже упомянул в свое время, мой средний брат, Иван Павлович, выдержал в 1880 году

экзамен на учителя и был назначен в заштатный городок Воскресенск, Московской губернии, в одной версте от которого находится знаменитый монастырь «Новый Иерусалим», основанный патриархом Никоном с целью дать возможность русским паломникам не ездить в Палестину на поклонение «святым» местам, а «иметь» их у себя под боком. Этот монастырь представляет собою точную копию с Иерусалимского храма, палестинского. В нем устроены и Голгофа, и часовня «гроба господня», и Гефсиманский сад, и Кедронский поток и даже имеются две библейские горы, Фовор и Ермон. Местность подбиралась специально. Воскресенск был тогда еще очень маленьким городком, и в нем было всего только одно училище — приходское; им-то и заведывал мой брат. Попечитель этого училища — известный суконный фабрикант Цуриков — не пожалел денег на его благоустройство, и у Ивана Павловича оказалась вдруг просторная, хорошо обставленная квартира, рассчитанная не на одного холостого учителя, а на целую семью. Для Чеховых, живших тогда в Москве тесно и бедно, это было чистой находкой. Едва только у меня и у моей сестры Маши кончались переходные экзамены, как наша мать, Евгения Яковлевна, уже ехала с нами в Воскресенск на подножный корм и проживала там с нами до самого начала учения. Для меня и сестры Воскресенск казался земным раем, тем более, что мы очень утомлялись в Москве. Воскресенск замечателен своими окрестностями. В округе много грибов, а мы, Чеховы, страстные любители собирать грибы.

В городе стояла батарея, которою командовал полковник Б. И. Маевский, человек очень общи-

тельный и живой. Там проживал тогда П. Д. Голохвостов,[1] много работавший по вопросу о земских соборах. Это был высокий чернобородый и черноволосый человек с седой прядью от лба до затылка, ходивший вразвалку и низко опустив голову на грудь. Он так всегда был занят своими мыслями, что часто проходил мимо своего дома и не мог найти своих ворот. Для того чтобы он попадал домой, к нему была приставлена девочка Авочка, которую он потом удочерил. Он много занимался древней историей, сделал не мало открытий по эпохе Смутного времени и вместе с тогдашним министром Н. П. Игнатьевым думал ввести в России нечто вроде конституции, но на манер древних земских соборов. Язык у него был архаический: он и писал и разговаривал на языке древних летописей и сам придумывал слова, которые были громоздки, как леса вокруг строящегося трехэтажного дома. С ним было очень интересно поговорить, так как он держал себя чрезвычайно просто и поражал своей эрудицией. Разговаривая, он постоянно ходил взад и вперед по комнате. Его жена, Ольга Андреевна, была писательницей: ей принадлежит драма «Лихому лихое» и известный шумный водевиль «Назвался груздем — полезай в кузов».

Жили в Воскресенске еще две-три интересные семьи, но центром всей воскресенской жизни была все-таки семья Маевских. У них были очаровательные дети — Аня, Соня и Алеша, с которыми сдружился мой брат Антон Павлович и описал их в рассказе «Детвора». У них же бывал и раненый в турецкую войну офицер, Э. И. Тышко, который всегда ходил в черной шел-

ковой шапочке и которого брат Антон называет в своей переписке «Тышечкой в шапочке». Здесь же брат познакомился с другими офицерами батареи и вообще с военной жизнью, что оказало ему впоследствии услугу в создании «Трех сестер». Поручик этой батареи, Е. П. Егоров,[2] был близким приятелем братьев Чеховых и упомянут Антоном Павловичем в его рассказе «Зеленая коса». Впоследствии этот Е. П. Егоров вышел в отставку с таким же желанием «работать, работать и работать», как и барон Тузенбах в «Трех сестрах», и оказал не малую услугу населению Нижегородской губернии в 1892 году. К нему ездил туда брат Антон, и оба они принимали там участие в обеспечении крестьян рабочими лошадьми.

Брат Антон не сразу стал ездить с нами в Воскресенск. Ему было не до дач, так как необходимость зарабатывать в московских журналах удерживала его на лето в Москве, и он не ездил из нее дальше Сокольников, Богородского и других подмосковных дачных выселков, так талантливо осмеянных в «Пестрых рассказах». По-видимому, он тогда не чувствовал себя скучно летом в душной Москве. Тогда там была большая Всероссийская выставка, а в 1881 году последовало открытие памятника Пушкину, взволновавшее всю русскую интеллигенцию. Тогда он совершал новые знакомства, входил в литературные связи, целиком ушел в газетные и журнальные дела. Между прочим, на Всероссийской выставке с ним случился реприманд, который его очень взволновал.

В тот год, летом, шедший из Москвы на юг почтовый поезд, набитый пассажирами, целиком

свалился под насыпь между станциями Московско-Курской железной дороги Чернь и Бастыево, близ деревни Кукуевки. Насыпь обвалилась вслед за ним и заживо погребла под собою всех пассажиров. По имени деревни и самая катастрофа получила название «Кукуевской». Туда был послан корреспондентом упомянутый выше В. А. Гиляровский, которому и принадлежит честь выяснения всех подробностей этой ужасной катастрофы.

На Всероссийской выставке, в отделе повременной печати, находился киоск от журнала «Свет и тени». Заведывала им наша знакомая А. А. Ипатьева; брат Антон разговаривал с ней, как вдруг по выставке пронеслась, точно судорога, весть о катастрофе. Пробежали мальчишки с экстренными телеграммами. Брат Антон заинтересовался, купил телеграмму, прочел и разволновался.

— Ведь такие катастрофы могут случаться только в одной нашей свинской России, — сказал он А. А. Ипатьевой вслух.

В эту минуту к нему вдруг подскочил генерал в синей фуражке и с белыми погонами и строго сказал:

— Как вы сказали, молодой человек? повторите! кажется, «в нашей свинской России?» как ваша фамилия? кто вы такой?

Брат Антон смутился.

— Хорошо-с. За это вы можете ответить, — сказал генерал и быстро удалился.

Брат Антон ожидал, что его сейчас арестуют, отвезут в Бутырки и так далее, но все обошлось благополучно, и генерал больше не возвращался.

На Всероссийской выставке был особый музыкальный отдел, на котором были выставлены разными фирмами музыкальные инструменты, главным образом рояли, пианино и оркестрионы. Чтобы сделать своим экспонатам хорошую рекламу, фирмы приглашали европейских знаменитостей играть на них целые концерты, и таким образом можно было послушать бесплатно великого артиста. Один из таких знаменитых — дирижер и основатель филармонических курсов и концертов в Москве П. А. Шостаковский — впервые сыграл в этом музыкальном отделе на рояле чьей-то фирмы известную рапсодию Листа.[3] Она так увлекла моих братьев, Николая и Антона, что с тех пор эту рапсодию можно было слышать по несколько раз в день у нас дома в исполнении Николая. Оба познакомились потом с Шостаковским и стали у него бывать запросто.

Это был приятнейший, гуманнейший и воспитаннейший человек, и все, кто его знал, высоко ценили его как исполнителя и любили как человека. Но раз дело касалось музыки, которую он обожал, то он забывал обо всем на свете, превращался в льва и готов был разорвать в клочки каждого из своих музыкантов за малейшую ошибку в оркестре. Заслышав такую ошибку, он тотчас же стучал палочкой и останавливал весь оркестр.

— Если ты, скотина эдакая, — обращался он к музыканту, — будешь портить мне ансамбль, то я тебя выгоню вон.

В один из таких случаев наш милый знакомый, А. И. Иваненко,[4] флейтист в его оркестре, приняв эту обиду на свой счет, спросил с достоинством:

— Смею думать, Петр Адамович, что эти ваши слова относятся не ко мне?

— Да, не к тебе, не к тебе, — ответил плачущим голосом Шостаковский,—а вот к этому болвану!

Другой случай был с С. М. Гр., исполнявшим партию барабана.

Замечтавшись и устав ожидать, когда дирижер подаст ему такт, он ударил в него раньше, чем следовало.

Петр Адамович положил палочку и остановил оркестр.

— Если ты будешь продолжать в таком же духе, — обратился он к барабанщику, — то я тебя за уши выдеру.

Барабанщик обиделся и демонстративно сошел с эстрады.

Но после репетиций и концертов на Шостаковского не обижался никто, все знали его характер и были уверены, что потом он сам же будет всех ласкать и восторгаться успехами своего оркестра.

Кажется, в своем рассказе «Два скандала» Антон Чехов, описывая дирижера, взял за образец именно Шостаковского. Этот рассказ вошел в самую первую книжку рассказов А. П. Чехова «Сказки Мельпомены», изданную им в 1884 году. Книжке этой, как говорится, не подвезло. Она была напечатана в типографии А. А. Левенсона в долг, с тем, чтобы все расходы по ее печатанию были погашены в первую голову из ближайшей выручки за книжку, но не пришлось выручать даже и этих расходов, и вот по какой причине: владельцы книжных магазинов, которым «Сказки Мельпомены» были сданы

на комиссию, вообразили, что это не театральные рассказы, а детские сказки, и положили ее у себя в детский отдел. Случались даже и недоразумения. Так, один генерал сделал заведующему книжным магазином «Нового времени» скандал за то, что ему продали такую безнравственную детскую книжку. Что сталось потом со «Сказками Мельпомены», не знал даже и сам автор. Такая же неудача постигла и другую книгу Чехова того времени. Она была уже напечатана, сброшюрована и только недоставало ей обложки. В эту книгу вошли, между прочим, рассказ «Жены артистов», впоследствии напечатанный в «Сказках Мельпомены», и «Летающие острова». Книжка же была очень мило иллюстрирована братом Николаем. Я не знаю, почему именно она не вышла в свет и вообще какова была ее дальнейшая судьба. [5]

Только студентом последнего курса Антон Павлович приехал на лето в Воскресенск. Здесь он нашел уже порядочный круг знакомых. Высокий, в черной крылатке, широкополой шляпе, он стал принимать участие в каждой прогулке, а гуляли большими компаниями и каждый вечер, причем дети гурьбой бежали впереди, а взрослые шли далеко позади и вели либеральные беседы на злобы дня. А поговорить было о чем. Кроме сочинений Щедрина, которыми тогда зачитывались, выписывали вскладчину положительно все до одного выходившие в то время толстые журналы, наибольшим успехом из которых пользовались «Отечественные записки», [6] «Вестник Европы» и «Исторический вестник». Как писателю Антону Чехову нужны были впечатления, и он стал их теперь черпать

для своих сюжетов из той жизни, которая окружала его в Воскресенске: он вошел в нее целиком. Как будущему врачу ему нужна была медицинская практика, и она тоже оказалась здесь к его услугам.

Верстах в двух находилась усадьба Чикино, при громадном красивом пруде, купленная земством и обращенная в больницу. Ею заведывал известный тогда среди земских врачей и в медицинской литературе врач П. А. Архангельский. Чикинская больница считалась поставленной образцово, сам Павел Арсеньевич был очень общительным человеком, и около него всегда собиралась для практики медицинская молодежь, из которой многие потом сделались врачебными светилами. Там брат Антон и все мы познакомились с В. Н. Сиротининым, Д. С. Таубер, М. П. Яковлевым, имена которых не прошли бесследно в медицинской науке. Часто, после многотрудного дня, собирались у одинокого Архангельского, создавались вечеринки, на которых говорилось много либерального и обсуждались литературные новинки. Много говорили о Щедрине, Тургеневым зачитывались взапой. Пели хором народные песни, «Укажи мне такую обитель», со смаком декламировали Некрасова. Там впервые меня, гимназиста, назвали не Мишей, а Михаилом Павловичем, и это сразу же меня подняло в моих же собственных глазах. Эти вечеринки были для меня школой, где я получил политическое и общественное воспитание и где крепко и навсегда сформировались мои убеждения как человека и гражданина.

В 1884 году мой брат Антон окончил курс в университете и явился в чикинскую больницу

на практику уже в качестве врача. Здесь-то он и почерпнул сюжеты для своих рассказов «Беглец», «Хирургия», а знакомство с воскресенским почтмейстером Андреем Егоровичем дало ему тему для рассказа «Экзамен на чин».

Совсем другая обстановка царила в это время в другой ближайшей к Воскресенску больнице — при суконной фабрике А. С. Цуриковой в селе Ивановском. Больница эта была обставлена богато и даже роскошно, но популярностью она не пользовалась. Заведывал ею врач М. М. Цветаев, человек какой-то особой психологии, который на приемах не подпускал к себе близко больного, боясь, что от него будет неприятно пахнуть. Тем не менее и этот врач не прошел бесследно в литературе.

Был некто казак Ашинов,[7] именовавший себя атаманом, большой авантюрист, мечтавший, подобно Колумбу, открыть какой-нибудь новый материк и сделать его русской колонией.

Еще во дни молодости моего дяди Митрофана Егоровича, о котором я сообщил в самом начале этой книги, к нему пришел какой-то человек и попросил работы. Это было в Таганроге. Дядя предложил ему рыть у него погреб. Человек этот исполнял дело с таким старанием и говорил так умно, что заинтересовал дядю, и они разговорились. Чем дальше, тем этот землекоп увлекал дядю все больше и больше, и наконец дядя окончательно подпал под его влияние, и теории этого землекопа наложили свой отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Впоследствии этот землекоп оказался известным иеромонахом Паисием.[8]

Врач цуриковской больницы М. М. Цветаев вышел в отставку и принял монашество.

И вот явился неведомо откуда «атаман» Ашинов и сообщил, что он открыл новый материк. Печать встретила его насмешливо, петербургские власти — недоверчиво. Тогда он решил действовать на свой страх и риск. Он напечатал объявления, в которых приглашал лиц, искавших счастья и простора, присоединиться к нему и отправиться вместе с ним на новые места. Набралось около сотни семей. Чтобы они не остались без духовной нищи, Ашинов пригласил с собою иеромонаха Паисия как главу будущей филиальной православной церкви в колонии и иеромонаха Цветаева как врача и духовного пастыря.

Авантюристы погрузились на пароход в Одессе и отплыли в обетованные места. Ашинов выгрузил их на берегу Красного моря, заняв французскую колонию Обок и переименовав ее в «Новую Москву». Выкинули русский флаг и расположились лагерем.

Французское правительство сделало русскому правительству запрос. Последнее ответило, что оно не имеет ровно никакого отношения к Ашинову и к «Новой Москве» и что «атаман» действует за свой собственный риск и страх.

Тогда французское правительство отправило в Обоку крейсер. Ашинову было предложено немедленно же очистить берег и спустить русский флаг. Он категорически отказался, вероятно, надеясь на поддержку своих друзей в России. Тогда крейсер открыл по «Новой Москве» огонь. Было перебито много женщин и детей, некоторые семьи были взяты на борт крейсера, но куда девались затем сам Ашинов и Паисий, я теперь уже не помню. Что же касается быв-

шего врача Цветаева, то он через непроходимую Даникильскую пустыню в Африке совершил переезд в Абиссинию, был принят абиссинским негусом Менеликом, завязал с ним сношения и это свое путешествие описал потом, если не ошибаюсь, в «Ярославских губернских ведомостях». В монашестве он носил имя Ефрем.

В середине лета 1884 года брат Антон, прихватив с собой меня, отправился в Звенигород уже в качестве заведующего тамошней больницей на время отпуска ее врача С. И. Успенского. Вот тут-то ему и пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Он здесь и принимал больных, и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде. В Звенигороде был тот дом, в котором помещались все сразу правительственные учреждения и о котором один из чеховских героев говорит: «Здесь и полиция, здесь и милиция, здесь и юстиция — совсем институт благородных девиц». Звенигородские впечатления дали Чехову тему для рассказов «Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена». А когда наступал вечер, мы с братом шли в гости к очень гостеприимной местной дачнице Л. В. Гамбурцевой, у которой были хорошенькие дочки и можно было послушать музыку и пение и потанцовать. Фельдшером в звенигородской больнице был почтенный солидный человек Сергей Макарыч, а лаборантом в аптеке — юноша Неаполитанский, который вечно перепутывал прописываемые братом Антоном лекарства, так что мне поручено было следить за действиями этого звенигородского алхимика.

В один из первых же дней заведывания Чеховым звенигородской земской больницей привезли туда мальчика лет пяти, у которого был парафимоз. В деревне на такие пустяки не обратили внимания, но ущемление повлекло за собой отеки, появились признаки гангрены, и бедный мальчуган должен был бы совсем лишиться пола, если бы родители не спохватились и не привезли его в город в лечебницу. Таким образом брату Антону чуть не с первого же дня пришлось приниматься за операцию. Но ребенок так громко кричал и так неистово дрыгал ногами, что Антон Павлович по новости не решался приняться за дело. Баба, привезшая мальчика, рыдала навзрыд, два фельдшера, Неаполитанский и я, назойливо стояли тут же и ожидали результатов от такой интересной операции, — и это еще больше стесняло брата. Кончилось дело тем, что он написал записку к проживавшему в Звенигороде уездному врачу П. Г. Розанову, чтобы тот зашел к нему в больницу взглянуть на мальчугана. Почтенный доктор не заставил себя долго ждать и не прошло и минуты, как все уже было готово, мальчишка успокоился и мать повезла его обратно в деревню. Так им все было просто и ловко сделано, что у нас, зрителей, появилось даже разочарование, что все дело оказалось такими пустяками. Знакомство Антона с этим милым доктором, если не ошибаюсь, началось еще в Воскресенске, куда тот приезжал навестить врача Архангельского, где и встретился с моим братом, а после этого случая они сдружились и долго между собою переписывались. П. Г. Розанов был человеком науки, печатался в медицинских журналах, первый из

русских врачей подал на Пироговском съезде мысль об учреждении в России министерства народного здравия и все время мечтал об издании врачебной газеты или журнала, и при этом не узко-специальных, а с бытовым, публицистическим оттенком. Но, помнится, брат Антон отговорил его.

— Журнал вас только разорит и состарит, — сказал он. — Да к тому же вы не найдете сотрудников, и придется все писать самому.

Брат Антон гулял у него на свадьбе и так там «нализался», что долго об этом вспоминал. Они были там вместе с доктором С. П. Успенским, от него они поехали «поперек всей Москвы», очутились потом в известном кафешантане и только под утро Антон Павлович вернулся домой.

Будучи студентом, я любил бывать в гостях у упомянутой мной Л. В. Гамбурцевой, жившей по зимам в Москве, на Немецкой улице. Там было весело, всегда собиралась молодежь и поощрялись искусства. Там же летом, в пустой квартире, останавливался не раз по приезде в Москву из Звенигорода и Воскресенска и Антон Павлович. В один из вечеров, в субботу, я увидел там кадетика, совсем еще юного, который не принимал никакого участия в общем веселье, а сидел у рояля и задумчиво тренькал одной рукой по клавишам.

После танцев хозяйка ему сказала:

— Саша, сыграйте нам что-нибудь.

Кадетик тотчас же встрепенулся и стал играть известный концерт на мотивы из «Гугенотов», очень трудный, но известный каждому ученику консерватории и каждому пианисту.

Это был знаменитый впоследствии виртуоз и композитор А. Н. Скрябин.[10] Как я жалею, что не сошелся с ним тогда поближе!

У Л. В. Гамбурцевой были две племянницы — Маргарита и Елена Константиновны, или попросту Рита и Нелли. Рита была замужем за известным железнодорожным инженером бароном Спенглером, а Нелли тогда только что кончила курс в гимназии. (Между прочим, у матери этих двух сестер была та самая комнатная собачка, которая ворчала: «нга-нга-нга» и о которой писал в одном из своих рассказов брат Антон). У Спенглеров всегда собиралась молодежь, было весело, и часто мы, братья Чеховы, бывали у них на Новой Басманной. В это время Антон Павлович только первый год был врачом и колебался, заняться ли ему медициной или отдаться литературе. У Спенглеров были маленькие дети, и они-то и стали первыми пациентами Антона Павловича. В качестве гонорара за лечение Спенглеры поднесли ему портмонэ, в котором оказалась большая золотая турецкая монета, которую мы называли лирой. Часто потом эта лира выручала Антона Павловича в минуты жизни трудные. Он передавал ее мне, я относил ее в ломбард, закладывал там за десять рублей, и на несколько часов у брата Антона бренчали деньги в кармане. За Нелли же стал заметно ухаживать мой брат, художник Николай.

Вторыми пациентами Антона Павловича были некие Яновы, и здесь он, как говорится, попал в такую «ореховую отделку», что уже окончательно решил отдаться литературе. Жил в Москве художник А. С. Янов, который учился живописи вместе с моим братом Николаем —

отсюда и это знакомство чеховской семьи с Яновыми. Впоследствии Янов сделался главным декоратором театра Корша и затем перешел оттуда в ленинградский Александринский театр. Но в описываемое мною время он жил очень бедно с матерью и тремя сестрами, добрыми молоденькими существами. Случилось так, что эти три сестры и мать одновременно заболели брюшным тифом. А. С. Янов пригласил к ним брата Антона. Молодой, еще неопытный врач, но готовый отдать свою жизнь для выздоровления больного, Антон Павлович должен был целые часы проводить около своих больных пациенток и положительно сбивался с ног. Болезнь принимала все более и более опасное положение, и, наконец, в один и тот же день мать и одна из дочерей скончались. Умирая, в агонии, дочь схватила Антона Павловича за руку да так и испустила дух, крепко стиснув ее в своей руке. Чувствуя себя совершенно бессильным и виноватым, долго ощущая на своей руке холодное рукопожатие покойницы, Антон Павлович тогда же решил вовсе не заниматься медициной и окончательно перешел потом на сторону литературы. Две другие сестры выздоровели и затем часто у нас бывали. Одна из них вышила золотом альбом и преподнесла его Антону Павловичу с надписью: «В память избавления меня от тифа». Так как обе они были Яновы, то для краткости он прозвал их Яшеньками. И странное дело! Эти Яшеньки приходили к нам обязательно в те дни, когда у нас на третье блюдо подавали к обеду яблочник. И стоило только появиться на столе этому самому яблочнику, как брат Антон говорил:

— Ну, сейчас к нам должны притти Яшеньки.

И, действительно, вдруг раздавался звонок и внизу в прихожей слышались голоса Яшенек.

Но я уклонился немного в сторону.

Врач С. П. Успенский, которого заменял брат Антон на время отпуска, поступил в звенигородскую лечебницу на место врача Персидского, которому пришлось оставить службу в этой больнице вот по какому случаю, возможному только в те времена.

Верстах в двух-трех от Звенигорода, на берегу Москва-реки, в очень живописной местности, находится монастырь — Саввина Сторожевская пустынь.[11] Она всегда привлекала к себе художников, вроде Левитана, Кувшинниковой, Степанова и Аладжалова, и вообще служила центром внимания воскресенских жителей, так как раз в год оттуда, за 26 верст, совершался крестный ход в Воскресенск, составлявший собою целый праздник, с приуроченной к этому дню ярмаркой.

В 1883 году практиковавшие в чикинской больнице у Архангельского молодые врачи М. П. Яковлев, В. Н. Сиротинин, Д. С. Таубер и Е. Н. Собинина решили совершить пешеходную прогулку в Саввинский монастырь. К этой компании, кроме еще других лиц, примкнули и мы, Чеховы. Все 26 верст мы прошли настолько бодро, что достигли монастыря еще задолго до захода солнца. Погуляв около монастыря, молодые врачи решили, что недурно было бы навестить своего коллегу, врача Персидского, заведывающего больницей в Звенигороде. Сказано — сделано. Персидский, конечно, обрадовался дорогим гостям и устроил для них у себя в садике

чай. Отдохнули, поговорили, а потом молодежь вспомнила студенческие годы и стала петь хором. Спели «Дубинушку», «Укажи мне такую обитель» и еще что-то, как вдруг является полицейский надзиратель и составляет протокол. Напрасно Персидский доказывал, что эти люди — его гости, что у себя на квартире он может принимать кого угодно и что в домашней обстановке петь хором не запрещается, — не помогло ничто.

Протоколу дан был ход. Тогда Персидский письмом в редакцию напечатал об этом случае в «Русских ведомостях». Но и это успеха не имело. Обладавший большими связями в обеих столицах М. П. Яковлев лично отправился к московскому губернатору, чтобы объяснить, в чем дело, но губернатор ответил:

— Конечно, мы приняли бы сторону доктора Персидского, если бы он не напечатал своего письма в «Русских ведомостях», а теперь мы должны стать на сторону звенигородской полиции, чтобы не дать повода думать, что мы испугались «Русских ведомостей» и вообще прислушиваемся к печати.

И доктору Персидскому пришлось выехать из Звенигорода.

Верстах в 25 от Воскресенска, в котором учительствовал мой брат Иван Павлович, находилась Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с полковником Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, конечно, должны были присутствовать и офицеры из воскресенской

батареи. Поехал туда с ними и мой брат Иван Павлович. Каково же было его удивление, когда по окончании бала привезшие его туда воскресенские офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище в Воскресенске; к тому же была зима и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, который уезжал в Воскресенск и которого тут же дожидалась тройка лошадей. Увидев беспомощного Ивана Павловича, человек этот предложил ему место в своих санях и благополучно доставил его в Воскресенск. Это был А. С. Киселев, живший в Бабкине, в пяти верстах от Воскресенска, племянник русского посла в Париже графа П. Д. Киселева. Этот граф Киселев умер в Ницце, в своем собственном дворце и оставил своим трем племянникам большие капиталы и всю обстановку. Часть этой обстановки очутилась в Бабкине у одного из его племянников — Алексея Сергеевича. Этот Алексей Сергеевич был женат на дочери известного тогда директора императорских театров в Москве В. П. Бегичева — Марии Владимировне.[12] У них были дети — Саша (девочка) и Сережа, о которых не раз упоминается в биографии Антона Чехова. Таким образом, познакомившись за дорогу с моим братом Иваном Павловичем, А. С. Киселев пригласил его к себе в репетиторы — так и зародилась связь чеховской семьи с Бабкиным и его обитателями. Началась она с того, что наша сестра Маша, познакомившись через Ивана Павловича с Киселевым и сдружившись с Марьей Владимировной, стала подолгу гостить

в Бабкине, а затем с весны 1885 года и вся семья Чеховых переехала на дачу туда же.

Как уже писалось не раз, Бабкино сыграло выдающуюся роль в развитии таланта Антона Чехова. Не говоря уже о действительно очаровательной природе, где к нашим услугам были и большой английский парк, и река, и леса, и луга, и самые люди собрались в Бабкине точно на подбор. Семья Киселевых была из тех редких семей, которые умели примирить традиции с высокою культурностью. Тесть А. С. Киселева, В. П. Бегичев, описанный Маркевичем в его романе «Четверть века назад» под фамилией «Ашанин», был необыкновенно увлекательный человек, чуткий к искусству и литературе, и мы, братья Чеховы, по целым часам засиживались у него в его по-женски обставленной комнате и слушали, как он рассказывал нам о своих похождениях в России и за границей. Ему Антон Чехов обязан своими рассказами «Смерть чиновника» (случай, действительно происшедший в московском Большом театре) и «Володя»; «Налим» также описан с натуры (действие происходило при постройке купальни); «Дочь Альбиона» — все окружение бабкинское.

Мария Владимировна была внучкой известного издателя гуманиста-писателя Новикова, сама писала в журналах, была страстной рыболовкой и по целым часам простаивала с моим братом Антоном и сестрой Машей с удочкой на берегу и вела с ними литературные беседы. По парку, как выражался сам брат Антон, «бродила тень Болеслава Маркевича», который только за год перед тем жил в Бабкине и писал там свою «Бездну». Певец, когда-то знаменитый тенор,

Владиславлев, сделавший славу популярному романсу «На горе за рекой хуторочек стоит», в котором он по целой минуте выдерживал верхнее «ре» в слове «эх!..», жил тут же и распевал свои арии и романсы. Пела и Мария Владимировна. Е. А. Ефремова каждый вечер знакомила с Бетховеном, Листом и другими великими музыкантами. Киселевы были близко знакомы с Даргомыжским, Чайковским, Сальвини. Тогда композитор П. И. Чайковский, только незадолго перед тем выступивший со своим «Евгением Онегиным», волновал бабкинские умы; часто поднимались разговоры о музыке, композиторах и о драматическом искусстве. Очаровательные дети бегали по расчищенному английскому парку, перекидывались с братом Антоном шутками и остротами и оживляли жизнь. Охотник Иван Гаврилов, необыкновенный лгун, как и все охотники, садовник Василий Иванович, деливший весь растительный мир на «трапику» и «ботанику», плотники, строившие купальню, крестьяне, больные бабы, приходившие лечиться, наконец сама природа — все это давало брату Антону сюжеты и хорошо настраивало его.

Просыпались в Бабкине все очень рано. Часов в семь утра брат Антон уже сидел за столиком, сделанным из швейной машины, поглядывал в большое квадратное окошко на великолепный вид и писал. Работал он тогда в «Осколках» и в «Петербургской газете» и щедро писал о бабкинских впечатлениях. Обедали тоже рано, около часу дня. Брат Антон был страстным любителем искать грибы и во время ходьбы по лесу легче придумывал темы. Близ Дарагановского леса стояла одинокая Полевщинская церковь, всегда

обращавшая на себя внимание писателя. В ней служили всего только один раз в год, на Казанскую, и по ночам до Бабкина долетали унылые удары колокола, когда сторож звонил часы. Эта церковь с ее домиком для сторожа у почтовой дороги, кажется, дала брату Антону мысль написать «Ведьму» и «Недоброе дело». Возвратившись из лесу, пили чай. Затем брат Антон опять усаживался за писание, позже — играли в крокет, а в восемь часов вечера ужинали. После ужина шли в большой дом к Киселевым. Это были превосходные, неповторимые вечера. А. С. Киселев и В. П. Бегичев сидели у стола и раскладывали пасьянсы; Е. А. Ефремова аккомпанировала, тенор Владиславлев пел, а все Чеховы усаживались вокруг Марии Владимировны и слушали ее рассказы о Чайковском, Даргомыжском, Росси, Сальвини. Я положительно могу утверждать, что любовь к музыке развилась в Антоне Чехове именно здесь. В эти вечера много говорилось о литературе, искусстве, смаковали Тургенева, Писемского. Много читали, — получались все толстые журналы и много газет. Мария Владимировна не скрывала, что Чайковский ей очень нравился и с своей стороны был в нее влюблен, но сделать ей предложение, когда она была девушкой, опоздал. Попросту — он ее прозевал. Случилось все это вот как (я сообщаю это со слов самой же Марии Владимировны).

Как я упомянул выше, Бегичев был директором тогдашних императорских театров. Овдовев, он женился на знаменитой тогдашней певице М. В. Шиловской. Таким образом дочь Бегичева, Мария Владимировна, уже взрослая двадцатилетняя девушка, да еще писаная красавица,

оказалась вдруг падчерицей и должна была жить под одной кровлей со своей мачехой. М. В. Шиловская была очень ревнива к падчерице. Бегичевы жили открыто, в их обширной квартире собиралась вся Москва, но главным образом их посещали театральные, музыкальные и всякие другие знаменитости, в числе которых находился и Чайковский. Все это были люди свежие, молодые, интересные, и весьма естественно, что они группировались около молодой хозяйки. А у М. В. Шиловской в это время были уже взрослые сыновья (один из них, К. С. Шиловский, был автором известного в свое время романса «Тигренок» — «Месяц плывет по ночным небесам»). Отсюда — ревность. Мало-помалу жизнь для Марии Владимировны, у нее же в доме, стала тяжелой. Начались сцены. Этих отношений не могли не замечать молодые люди, окружавшие падчерицу, — так они стали прозрачны. И вот, однажды, за большим обедом, почувствовав себя оскорбленной, Мария Владимировна не выдержала, разрыдалась и, выскочив из-за стола, выбежала в другую комнату. Сидевший в это же время за столом один из гостей, а именно А. С. Киселев, бросился вслед за ней и сделал ей предложение. Она ответила ему: «Хуже не будет». И дала ему согласие. В эту же самую минуту вслед за Киселевым вбежал в комнату и П. И. Чайковский и тоже сделал ей предложение, но было уже поздно.

А счастье было так близко, так возможно...

«Евгений Онегин» и этот эпизод, рассказанный самой Марией Владимировной, окружили в

моей душе милого композитора каким-то особым обаянием. И когда в середине октября 1889 года судьба дала мне счастье лично увидеть его у нас же в гостях, то это казалось мне чем-то необыкновенным. Он пришел к нам запросто, посидел, достал из бокового кармана свою фотографию, на которой была уже заготовлена надпись «А. П. Чехову от пламенного почитателя. 14 октября 1889 года. П. Чайковский», и преподнес ее брату Антону. Затем они разговаривали о музыке и о литературе. Я помню, как оба они обсуждали содержание будущего либретто для оперы «Бэла», которую собирался сочинить Чайковский. Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Лермонтову брат Антон. Бэла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимыч — тенор, Казбич — бас.

— Только знаете ли, Антон Павлович, — сказал Чайковский, — чтобы не было процессий с маршами. Откровенно говоря, не люблю я маршей.

Он ушел от нас, — и то обаяние, которое мы уже испытывали от него на себе, от этого его посещения стало еще больше. Брат Антон ответил ему на его фотографию посвящением ему своей второй книжки, «Хмурые люди».[13]

Первая же книжка его, «В сумерках», как известно, была посвящена писателю Д. В. Григоровичу[14] и вот по какому поводу:

Ранней весною, когда мы жили на Кудринской-Садовой, в доме Корнеева, брат Антон напечатал в «Петербургской газете» свой рассказ «Егерь». И вдруг — письмо от старика Д. В. Григоровича. «...У вас настоящий талант, — писал он брату, — талант, выдвигающий вас далеко

из круга литераторов нового поколения... Как видите, я не смог утерпеть и протягиваю вам обе руки». Таким образом старик первый угадал в Антоне Чехове всю серьезность его дарования и благословлял его на доблестные подвиги. Конечно, это письмо ошеломило и самого брата Антона, и всех нас и своею неожиданностью, и таким лестным, бодрящим мнением о таланте брата. Он тотчас же сел и написал ему известный ответ («Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния» и т. д. 26 марта 1886 года). Затем Григорович прислал ему свой портрет с надписью: «От старого писателя молодому таланту».

После этого между старым писателем и молодым талантом завязались отношения. Брат Антон съездил в Петербург, побывал у Григоровича и возвратился из Северной Пальмиры точно в чаду от ласкового приема. Его пригласил к себе работать и А. С. Суворин. Теперь, значит, дела пойдут веселее и можно будет не особенно прижиматься.

Я был тогда уже студентом. Жизнь била во мне ключом, из сестры Маши сформировалась очаровательная, чуткая, образованная девушка, Антону шел только 26-й год — и наша квартира наполнилась молодежью. Интересные барышни — Лика Мизинова, Даша Мусин-Пушкина, Варя Эберле — и другие молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет. Попишет — и поднимется наверх, чтобы поострить или подурачиться вместе со всеми. А днем, когда

все занимались делом и у нас не было никого, брат Антон обращался ко мне:

— Миша, сыграй что-нибудь, а то плохо пишется...

И я отжаривал для него на пианино по целым получасам попурри из разных опереток с таким ожесточением, на какое может быть способен разве только студент-второкурсник сангвинического темперамента.

По вечерам же у нас собиралась молодежь каждый день. И вдруг на один из таких вечеров к нам неожиданно является Григорович. Высокий, стройный, красивый, в небрежно завязанном дорогом галстуке, он сразу же попадает в молодую кутерьму, заражается ею и... начинает, старый греховодник, ухаживать за барышнями. Он просиживает у нас до глубокой ночи и кончает тем, что отправляется провожать пленившую его Долли Мусин-Пушкину до самой ее квартиры.

Второй раз я встретился с Григоровичем уже в Петербурге, у Сувориных. Он стал вспоминать об этом вечере, и, повидимому, это было ему приятно.

— Анна Ивановна, голубушка моя, — обратился он к Суворинной, говоря быстро и задыхаясь от волнения. — Если бы вы только знали, что там у Чеховых происходило!

И, подняв обе руки к небу, он воскликнул:

— Вакханалия, душечка моя, настоящая вакханалия!

Но возвращаюсь к Бабкину. Благодаря жизнерадостности милых обитателей, мы все, и в том числе и брат Антон, были очень веселы. Он писал, критики его хвалили, хотя А. Скаби-

чевский и предсказывал ему, что он сопьется и умрет где-нибудь под забором,[15] но он верил в свое дарование и пока еще был здоров. Иногда Антон дурил. Бывало, в летние вечера он надевал с Левитаном бухарские халаты, мазал себе лицо сажей и в чалме, с ружьем выходил в поле по ту сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин Антон и палил в него из ружья холостым зарядом. Левитан падал навзничь. Получалась совсем восточная картина. А то, бывало, судили Левитана. Киселев был председателем суда, брат Антон — прокурором, специально для чего гримировался. Оба одевались в шитые золотом мундиры, уцелевшие у самого Киселева и у Бегичева. А Антон говорил обвинительную речь, которая всех заставляла помирать от хохота. А то брат Антон представлял зубного врача, причем меня одевали горничной; приходившие пациенты так приставали ко мне со своими любезностями, что я не выдерживал роли и прыскал от смеха им в лицо.

В Бабкине мы помещались в том самом флигеле, где до нас жил писатель Б. М. Маркевич.[16] Я познакомился с ним и его женой и сыном летом 1884 года, когда приезжал к Киселевым еще не на дачу, а гостить. С белой шевелюрой, с белыми бакенбардами, весь в белом и белых башмаках, Маркевич походил на статую командора. Мне нравился его роман «Четверть века назад», но то, что я слышал тогда о самом Маркевиче, как-то невольно отдаляло меня от него. Говорили о том, что он был уволен со службы

в двадцать четыре часа, что был явным врагом Тургенева, которого я обожал и который на один из его выводов ответил ему далеко не лестным письмом в «Вестнике Европы». Знал я и то, что Болеслав Маркевич придерживался взглядов «Московских ведомостей» и т. д., но все-таки как писателя и в особенности стилиста я его любил. В Бабкине Маркевич скучал ужасно. Ему недоставало там столичного шума, тем более, что и газеты и журналы получались там не каждый день. Чтобы захватить их раньше всех, Б. Маркевич выходил далеко к лесу и там дожидался возвращавшегося с почты Микешку, брал у него газеты и, не отдавая их никому, уединялся где-нибудь в укромном уголку и перечитывал от доски до доски.

Уже совсем под осень, в августе, когда на севере делается так уныло и начинает рано вечереть и когда дачников начинает уже потягивать в город к обычному делу, Маркевич вышел к лесу, перенял Микешку, забрал от него все газеты и, воспользовавшись тем, что все бабкинцы увлеклись в этот вечер игрой в крокет, уселся в большом киселевском доме за обеденный стол, над которым горела керосиновая лампа, и, весь белый, принялся за чтение. Оседлав нос золотым пенснэ и повернувшись спиной к свету, чтобы лучше было видно, он прибавил в лампе огня и углубился в чтение. Скоро ему показалось, что лампа стала притухать; не отрываясь от газеты, он протянул к лампе руку и прибавил огня. Она вновь стала притухать, как показалось ему, и он опять прибавил огня. Наконец стало уже совсем темно. Попрежнему, не отрываясь от газеты, он снова протянул руку к лампе и усилил освещение.

Когда мы вернулись с крокета, то увидели следующую картину: лампа коптела, как вулкан, вся скатерть на обеденном столе стала черной, Маркевич превратился из седовласого старика в жгучего брюнета и был одет уже не в белый костюм, а во все черное. В воздухе тучей носилась копоть. Все остановились в изумлении.

Поразительно, что Бабкино сыграло выдающуюся роль и в художественном развитии творца школы русского пейзажа И. И. Левитана.[17] Этот художник был с нами знаком еще с того далекого времени, когда учился вместе с моим братом Николаем в Московском училище живописи на Мясницкой. Они были близкими друзьями и помогали друг другу в работах. Так, на картине Левитана, находящейся в Третьяковской галлерее и представляющей даму, идущую осенью по аллее в Сокольниках, эту даму нарисовал мой брат Николай, а небо на картине Николая «Мессалина» разработал в свою очередь Левитан.

Случилось так, что, когда мы проводили первое лето на даче в Бабкине, невдалеке от нас оказался на жительстве и Левитан. Верстах в трех от нас, по ту сторону реки, на большой Клинской дороге, находилась деревня Максимовка. В ней жил горшечник Василий, горький пьяница, пропивавший буквально все, что имел, и не было времени, когда жена его, Пелагея, не ходила брюхатой. Художник Левитан, приехавший на этюды, поселился у этого горшечника. Как известно, на Левитана находили иногда припадки меланхолии. В таких случаях он брал ружье и уходил на неделю или на две из дому и не возвращался до тех пор, пока жизненная

радость не охватывала его снова. Он или сидел, мрачный и молчаливый, дома, в четырех стенах, и ни с кем не разговаривал, или же, как дух изгнанья, скрестив на груди руки и повесив голову на грудь, блуждал в одиночестве невдалеке.

Как-то лил несколько дней дождь под ряд, унылый, тоскливый, упорный, как навязчивая идея. Пришла из Максимовки жена горшечника пожаловаться на свои болезни и сообщила, что ее жилец Тесак (Исаак) Ильич захворал. Для Чеховых было приятным открытием, что Левитан находился так близко от Бабкина, и брату Антону захотелось его повидать. Мы уже отужинали, дождь лил, как из ведра, в большой дом (к Киселевым) мы не пошли и предстоял длинный вечер у себя дома.

— А знаете, что? — вдруг встрепенулся брат Антон, — пойдемте сейчас к Левитану!

Мы (Антон Павлович, брат Иван и я) надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Спустившись вниз, перешли по лавам через реку, долго шлепали по мокрым лугам, затем по болоту и наконец вошли в дремучий Дарагановский лес. Было дико в такую пору видеть, как из мрака к фонарю протягивались лапы столетних елей и кустов, а дождь лил, как во время ноева потопа: в локоть толщиной. Но вот и Максимовка. Отыскиваем избу горшечника, которую узнаем по битым вокруг нее черепкам, и, не постучавшись, не окликнув, вламываемся к Левитану и наводим на него фонарь.

Левитан вскакивает с постели и направляет на нас револьвер, а затем, узнав нас, он хмурится от света и говорит:

— Чорт знает, что такое!.. какие дугаки! таких еще свет не производил!..

Мы посидели у него, посмеялись, брат Антон много острил, и, благодаря нам, развеселился и Левитан.

А несколько времени спустя он переселился к нам в Бабкино и занял маленький отдельный флигелек. Брат Антон настоял на том, чтобы вместе с ним там поселился и я, и таким образом моя жизнь с Левитаном потекла совместно. Один из Чеховых написал стихи следующего содержания:

А вот и флигель Левитана,
Художник милый здесь живет,
Встает он очень, очень рано
И, вставши, тотчас чай он пьет.. и т. д.

У Левитана было восхитительное благородное лицо, — я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. У него был большой нос, но в общей гармонии черт лица это вовсе не замечалось. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал. Для своей известной картины «Христос и грешница» художник Поленов взял за образец его лицо, и Левитан позировал ему для лица Христа. Левитан был неотразим для женщин, и сам он был влюбчив необыкновенно. Его увлечения протекали бурно, у всех на виду, с разными глупостями, до выстрелов включительно. С первого же взгляда на заинтересовавшую его женщину он бросал все и мчался за ней в погоню, хотя бы она вовсе уезжала из Москвы. Ему ничего не стоило встать перед дамой на колени, где бы он ее ни встретил, будь то в аллее парка или в доме

при людях. Одним женщинам это нравилось в нем, другие, боясь быть скомпрометированными, его остерегались, хотя втайне, сколько я знаю, питали к нему симпатию. Благодаря одному из его ухаживаний он был вызван на дуэль на симфоническом собрании, прямо на концерте, и тут же в антракте с волнением просил меня быть его секундантом. Один из таких же его романов чуть не поссорил его с моим братом Антоном навсегда.

Жил в Москве в то время полицейский врач Димитрий Павлович Кувшинников. Он был женат на Софье Петровне. Жили они оба в казенной квартире, под самой каланчой одной из московских пожарных команд. Димитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью (некоторые ее картины, между прочим, находятся в Третьяковской галлерее). Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешены простые рыбацкие сети.

В доме Димитрия Павловича собиралось всегда много гостей: и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были вхожи туда и мы, Чеховы, и, сказать правду, я любил там бывать. Как-то так случалось, что в течение целого

вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи растворялись двери, и в них появлялась крупная фигура доктора, с вилкой в одной руке и с ножом — в другой, и торжественно возвещала:

— Пожалуйте, господа, покушать.

Все вваливались в столовую. На столе буквально не было пустого места от закусок. В восторге от своего мужа, Софья Петровна подскакивала к нему, хватала его обеими руками за голову и восклицала:

— Димитрий! Кувшинников! (она называла его по фамилии). Господа, смотрите, какое у него выразительное, великолепное лицо!

Были вхожи в эту семью два художника: Левитан и Степанов. Софья Петровна брала уроки живописи у Левитана.

Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в Саввинскую слободу, около Звенигорода, и жили там коммуной целыми месяцами. Так случилось и на этот раз. Левитан уехал на Волгу и... с ним вместе отправилась туда же и Софья Петровна. Она прожила на Волге целое лето; на другой год, все с тем же Левитаном, как его ученица, уехала в Саввинскую слободу, и среди наших друзей и знакомых стали уже определенно поговаривать о том, о чем следовало бы молчать. Между тем, возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его обеими руками за голову и с восторгом восклицала:

— Димитрий! Кувшинников! Дай я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!

Доктор Кувшинников и художник Степанов стали уединяться и, изливая друг перед другом душу, потягивали винцо. Стало казаться, что муж догадывался и молча переносил свои страдания. Повидимому, и Антон Павлович осуждал в душе Софью Петровну. В конце концов он не удержался и написал рассказ «Попрыгунья», в котором вывел всех перечисленных лиц. Смерть Дымова в этом произведении, конечно, придумана.

Появление этого рассказа в печати (в «Севере») подняло большие толки среди знакомых. Одни стали осуждать Чехова за слишком прозрачные намеки, другие злорадно прихихикивали. Левитан напустил на себя мрачность. Антон Павлович только отшучивался и отвечал такими фразами:

– Моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода.

Поговаривали, что Левитан собирался вызвать Антона Павловича на дуэль. Ссора затянулась. Я не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы Т. Л. Щепкина-Куперник не притащила Левитана насильно к Антону Чехову и не помирила их.

Софья Петровна умерла, еще раньше умер ее муж, а Левитан еще долго продолжал свои романы. Между прочим, один из них находится в некоторой связи с чеховской «Чайкой».

Я не знаю в точности, откуда у брата Антона появился сюжет для его «Чайки», но вот известные мне детали. Где-то на одной из северных

железных дорог, в чьей-то богатой усадьбе, жил на даче Левитан. Он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство. Он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Чехов был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, я не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке». Софья Петровна Кувшинникова доказывала потом, что этот эпизод произошел именно с ней и что она была героиней этого мотива. Но это — неправда. Я ручаюсь за правильность того, что пишу сейчас о Левитане со слов моего покойного брата. Вводить же меня в заблуждение брат Антон не мог, да это было и бесцельно. А может быть, Левитан и повторил снова этот сюжет, — спорить не стану.[18]

А. П. Чехов в Мелихове

VI

Московский университет под новым уставом. — Журфиксы у Антона с обитателями «Медвежьих номеров».— На даче у Линтваревых в 1888 году — Плещеев в гостях у Антона. — Рассказ Плещеева о казни петрашевцев. — Баранцевич, Суворин и П. М. Свободин (Поль-Матьяс) на Луке. — Из рассказов Суворина о своей биографии.— Мое знакомство с А. Ф. Кони. — Дружба брата с Свободиным. — Антон сокращает «Графа Монте-Кристо» — Чтение Чеховым «Рассказа моего пациента». — На спектакле «Иванова» у Корша. — Предложение Виктора Крылова (Александрова) о соавторстве с Чеховым. — Иван Щеглов (Леонтьев). — Кличка Чехова «Потемкин». — Знакомство Антона с Невежиным. — Мадам Бренко и вешалка Корша. — Открытие и успех Коршевского театра.

В первое же лето нашего пребывания в Бабкине я поступил в университет. Я попал как раз под новый университетский устав с его формой,

карцером, педелями и прочими прелестями победоносцевского режима. Профессорам вменено было в обязанность, во что бы то ни стало доказать студентам, что Россия — страна sui generis, [1] что его императорское величество есть единый правомерный источник всякой власти в государстве, что конституция со всеми относящимися к ней учреждениями ведет к роковому распутью, на котором уже заблудился Запад, как некий пошехонец в трех соснах, что народоправство не соответствует самому духу и характеру русского народа, и проч., проч. Такие выпады, как аплодисменты студентов профессору, считались верхом свободомыслия, и виновные на выдержку выхватывались из аудитории педелем и отсылались в карцер. Так и я, раб божий, даже не быв вовсе на лекции проф. М. М. Ковалевского, [2] которому без меня аплодировали, попал по недоразумению на другой день в карцер. Педель Павлов был самодержцем и неистовствовал. За время моего пребывания в университете были серьезные беспорядки, причем университет был на целые полгода закрыт, а педель Павлов оказался вдруг околоточным надзирателем, стоящим на посту против университета. Посетила университет царская семья, причем я сам, собственными глазами видел, как попечитель московского учебного округа П. А. Капнист так жадно целовал руку царя и так присасывался к ней слюнявыми губами, что царь с гадливостью отдернул ее от него, но он все-таки продолжал ловить ее в воздухе и с сладострастием целовать. Это посещение царем университета сделало потом карьеру для тогдашнего ректора Н. П. Боголепова, [3] который был

назначен на пост министра народного просвещения после бездарного Делянова и был вскоре убит.

Боясь, чтобы студенты не печатали прокламаций, им запрещено было новым уставом издавать лекции. Профессора читали свои обычные курсы, совершенно не придерживаясь предложенных им Победоносцевым программ, и не прошло и полугода, как сразу же появились недоразумения. Делать репетиции в течение одной-двух недель сразу такой массе студентов, какая была в тот год на юридическом факультете, было невозможно, а производить семестровые экзамены значило бы вычеркнуть целый месяц полезного времени на совершенно ненужную затею. Началась неразбериха. Мы, студенты, сами не понимали, что от нас требовалось и чего не требовалось; зачеты производились формально, и когда, наконец, мы прошли весь университетский курс, проехав его, как скрипучая телега по рытвинам и ухабам, и, получив от университета свидетельство, предстали в окончательном результате перед государственной комиссией, — то получились самые плачевные результаты. На государственной комиссии от нас требовали тех знаний, какие были указаны в министерских программах и какие не были преподаны нам в университете. Таким образом мы прошли как бы два курса: один — по лекциям наших профессоров и другой — по учебникам посторонних лиц, подогнанным к министерским программам. В результате — из 346 экзаменовавшихся получили диплом всего только 49 человек.

Вероятно, не без цели председателем комиссии назначен был прокурор московской судеб-

ной палаты Н. В. Муравьев,[4] тот самый, который выступал обвинителем в процессе 1 марта. Но он с первых же дней стал на сторону экзаменовавшихся и то-и-дело тут же во время экзаменов, при нас, посылал министру Делянову телеграммы, прося у него то одной льготы, то другой. Министерство неожиданно пошло навстречу. На последних экзаменах уже не было ни председателя, ни членов комиссии, а экзаменовали сами профессора, каждый в одиночку, и уже по своей программе. На экзамене по церковному праву, предмету довольно трудному и обширному, уставши уже от месячных требований, мы обратились к профессору А. С. Павлову с просьбой, чтобы он экзаменовал нас не слишком строго.

— Чего уж там строго? — ответил нам старик, — приказано вас всех пропустить, так чего уж!

И он стал всем ставить «удовлетворительно», с плеча и не экзаменуя вовсе.

Когда я поступил в университет, брат Антон уже целый год был врачом. Жили мы тогда на Якиманке, где на дверях его квартиры была прибита дощечка с надписью: «Доктор А. П. Чехов»; он еще колебался, придерживаться ли ему одной только литературы или превратиться в настоящего врача. Было скучно так далеко жить от театров и вообще от центра города. И для того чтобы общаться с людьми, наш доктор завел у себя по вторникам журфиксы. Большими деньгами он тогда не располагал, и главным угощением для гостей было заливное из судака, на которое была большая мастерица наша мать, Евгения Яковлевна.

В Москве, на углу Б. Никитской и Брюсовского переулка, как раз против консерватории, на первом этаже старого-престарого дома помещались меблированные комнаты, которые носили кличку «Медвежьих номеров». Жила здесь самая беднота — все больше ученики консерватории и студенты. Они жили так сплоченно и дружно, что когда к кому-нибудь из них приходил гость, то его угощали все вскладчину, был ли знаком он с остальными обитателями или нет. И коридорный слуга им попался такой же, как и они сами, настоящий представитель богемы. На какие-нибудь сорок копеек, собранные со всех обитателей сразу, он ухитрялся закупать целый гастрономический магазин. При этом он был каким-то своеобразным заикой, разговаривать с ним было забавно и тяжело.

— Ну, так чего же ты, Петр, купил?

— Э-ге-ге-ге... селедочки и... а-га-га-га два... ого-го-го-го... огурца и водо-го-го-го-чки полбутылку.

В этих номерах поселился наш брат, художник Николай, и быстро сошелся со всеми тамошними обитателями. На первый же журфикс он притащил своих новых приятелей из «Медвежьих номеров». Это были: Б. М. Азанчевский (впоследствии известный композитор и капельмейстер), В. С. Тютюнник (потом бас в Большой опере), М. Р. Семашко (впоследствии виолончелист в той же опере), пианист Н. В. Долгов и милейший флейтист А. И. Иваненко. Таким образом на вечерах у брата Антона на Якиманке сразу же определилась линия концертно-музыкальная.

Прошли годы — «бурь порыв мятежный развеял прежние мечты»: все, кто бывал на этих

вечерах, оказались уже семейными людьми и устроили свою судьбу, каждый нашел свою дорогу и исчез с горизонта. Один только флейтист А. И. Иваненко как привязался к нашей семье, так и остался при ней совсем вплоть до самого переселения брата Антона в Ялту. Мне кажется, что в некоторых чертах Епиходов из «Вишневого сада» списан именно с этого А. И. Иваненко.

В марте 1888 года, когда мы жили уже не на Якиманке, а на Кудринской-Садовой, в нашей семье стал обсуждаться вопрос: куда ехать на дачу? Весна была ранняя, и после тяжких трудов тянуло на подножный корм к природе. Отправляться опять в Бабкино уже не хотелось, ибо брату Антону нужны были новые места и новые сюжеты, к тому же он стал подозрительно кашлять и все чаще и чаще стал поговаривать о юге, о Святых горах в Харьковской губернии и о дачах в Карантине близ Таганрога. В это время на помощь явился А. И. Иваненко. Сам украинец, уроженец города Сум Харьковской губернии, узнав о стремлениях Антона Павловича, он схватился обеими ладонями за щеки и, покачивая головою с бока на бок, стал с увлечением расхваливать свою родину и советовать нам ехать на дачу именно туда. Он указал при этом на местных помещиков Линтваревых, живших около Сум на Луке. Антон Павлович написал им туда письмо с запросом, и вскоре был получен от них благоприятный ответ. Таким образом вопрос о поездке в Украину был решен, хотя и не окончательно, так как брат Антон не решался еще сразу нанять дачу заглазно и ехать так далеко всей семьей без более точных сведе-

ний как о самой даче, так и о ее владельцах Линтваревых.

В это время я был студентом III курса. Заработав перепиской лекций и печатанием детских рассказов 82 рубля, я решил прокатиться на юг, в Таганрог и в Крым, насколько хватит этих денег, и возвратиться оттуда прямо на север. Решение ехать на дачу в Украину я не одобрял, так как привык к Бабкину и нежно привязался к его обитателям. Когда я выезжал 17 апреля из Москвы, брат Антон обратился ко мне с просьбой свернуть от Курска к Киеву и, доехав до Ворожбы, снова свернуть на Сумы, побывать у Линтваревых, осмотреть там дачу на Луке, сообразить, что и как, и обо всем подробно ему отписать.

Эта поездка не входила в мои планы, — тем не менее я туда поехал.

После щегольского Бабкина Лука произвела на меня ужасно унылое впечатление. Усадьба была запущена, посреди двора стояла, как казалось, никогда не пересыхавшая лужа, в которой с наслаждением валялись громаднейшие свиньи и плавали утки; парк походил на дикий, нерасчищенный лес, да еще в нем находились могилы покойников; либеральные Линтваревы увидели меня в студенческой форме и с первого же взгляда отнеслись ко мне как к ретграду. Одним словом, мое первое знакомство с Лукой оказалось не в ее пользу. Так я и писал брату Антону с дороги, советуя ему не очень торопиться переездом на лето в Сумы.

Но пока я гостил в Таганроге да ездил в Крым, Антон Павлович все-таки снял дачу у Линтваревых на Луке и с первых же чисел мая переехал туда с матерью и сестрой. [5]

Возвратившись с юга на Луку, я застал у брата Антона поэта Алексея Николаевича Плещеева. [6]

Старик приехал к нему гостить из Петербурга, что при его уже совсем преклонных годах можно было назвать настоящим подвигом. Все обитатели Луки носились с ним как с чудотворной иконой. Семья Линтваревых состояла из предобрейшей старушки-матери и пяти взрослых детей: две дочери были уже врачами, третья — бестужевка, один сын был серьезным пианистом, другой — политическим изгнанником из университета. Все они были необыкновенно добрые люди, ласковые, отзывчивые и, я сказал бы, не совсем счастливые. Приезд к ним брата Антона, а с ним вместе и разных знаменитостей, вроде Плещеева, которому они привыкли поклоняться еще в дни своего студенчества в Петербурге, повидимому, пришелся им по вкусу. Когда к ним приходил в большой дом Алексей Николаевич, они усаживали его на старинный дедовский диван, окружали со всех сторон и слушали с затаенным дыханием его рассказы. И действительно, было чего послушать. Этот старик, обладавший кристальной душой и простым, чистым детским сердцем, до глубокой старости сохранил любовь к молодежи и, воспламеняя ее, воспламенялся вместе с нею и сам. Глаза его загорались, лицо краснело и руки поднимались вверх для жестов. Когда он декламировал свое известное стихотворение «Вперед без страха и сомненья, на подвиг доблестный, друзья», то даже самый заядлый скептик и пессимист начинал проникаться верой, что в небесах уже показалась «заря святого искупленья».

Громадное впечатление на слушателей производил рассказ Плещеева об его прикосновенности к делу Петрашевского. В 1849 году он был схвачен, посажен в Петропавловскую крепость, судим и присужден к смертной казни через повешение. Уже его вывезли на позорной колеснице на Семеновский плац, ввели на эшафот, надели на него саван, палач уже стал прилаживать к его шее петлю, когда руководивший казнью офицер вдруг шепнул ему: «Вы помилованы». И действительно, прискакавший курьер объявил, что Николай I, в своей «безграничной» милости, «соизволил» заменить ему смертную казнь ссылкой в Туркестан и разжалованьем в рядовые. Целые семь лет находился Плещеев в ссылке, сражался под Ак-Мечетью и, наконец, получил амнистию от Александра II и вернулся на старое пепелище в Петербург. Несмотря на тяжкие пережитые страдания. Плещеев вечно был бодрым и молодым, всегда гордо и высоко держал свое знамя и увлекал за собою молодежь. Всю свою жизнь он нуждался. Он писал стихи, исполнял за редакторов их обязанности тайком занимался переводами. Даже живя у нас на Луке, он писал стихи. Ему была отведена здесь отдельная комната, которую барышни украшали цветами; ранним утром он усаживался за стол и начинал сочинять, читая каждую свою строку вслух. Иной раз казалось, что это он звал к себе на помощь, и кто-нибудь действительно бросался к нему и этим его самого приводил в удивление.

Он очень любил все мучное, и наша мать, Евгения Яковлевна, старалась закармливать его варениками и пирогами и т. п. блюдами, и часто случалось, что после этого он ложился на

спину и начинал стонать от боли. Антон Павлович спешил к нему с грелками, строго-настрого запрещал ему увлекаться едой, но старик забывал об этом при каждом следующем сеансе. Вечно бедный, вечно нуждавшийся, он вдруг неожиданно разбогател: года за полтора до смерти он получил миллионное наследство, уехал в Париж, где его видели в цилиндре и щегольски одетым, но судьба тяжко посмеялась над ним и показала ему язык: нашелся настоящий наследник, и все капиталы были от Плещеева отобраны и он оказался опять таким же полунищим, каким был и до получения наследства. Он умер вскоре после этого, в сентябре 1893 года, в Париже, но тело его привезли в Москву и предали земле в Новодевичьем монастыре, недалеко от того места, где впоследствии был похоронен брат Антон.

С Линтваревыми установились превосходные отношения, пережившие Луку на многие лета. Как и в Бабкине, и здесь преобладала музыка и разговоры о литературе, — в особенности когда на Луку приезжал М. Р. Семашко, о котором я упоминал выше. Ловили рыбу и раков, ездили на челнах к мельнице и по ту сторону реки в березовый лес варить кашу; брат Антон много писал, но жизнь на Украине почему-то не давала ему столько тем, как в предшествовавшие годы в Бабкине: он интересовался ею только платонически. Правда, учительница Лидия Федоровна обогатила его здесь такими фразами, как «Липовая аллея из пирамидальных тополей» и «Черкесский князь ехал в малиновом шербете в открытом фельетоне», но, кажется, этим дело и ограничилось. На Луке Чехов писал уже на

готовые, привезенные с севера темы и окружавшую его жизнь наблюдал только этнографически.

Не успел уехать Плещеев, как приехал на Луку писатель Казимир Станиславович Баранцевич. [7]

Это был скромный, лысый человек, далеко еще не старый, всю свою жизнь трудившийся до пота лица и вечно бедствовавший. Начал он свои бедствия, как я слышал, с места приказчика, торговавшего кирпичом, затем стал писать, быстро выдвинулся вперед, обратил на себя внимание критики, включившей его в трио «Чехов, Баранцевич и Короленко», но бедность, большая семья и необходимость служить в обществе конно-железных дорог в Петербурге отвлекли его от литературы, и он мало-по-малу ее оставил. Бедняге приходилось каждый день вставать в четыре часа утра, а в пять уже быть в конторе и снабжать билетами всех кондукторов. Впоследствии он издавал детский журнал, кажется, носивший название «Красные зори», но журнал этот отличался очень бледною внешностью и успеха не имел. Никогда не выезжавший из Петербурга дальше Парголова и Озерков, Баранцевич вдруг осмелился, набрался духу и катнул к нам на Украину. О том, как он почувствовал себя у нас, можно легко себе представить. Он был приятным собеседником, несколько сентиментальным, но от него веяло во все стороны необыкновенной порядочностью, и когда он с неохотою, под давлением обстоятельств, уехал от нас обратно в свою контору конно-железных дорог, позабыв у нас к тому же свои брюки, то мы вспоминали о нем еще долго и, рассчитывая, что позабыть где-нибудь вещь значит вернуться

туда еще раз, поджидали его возвращения на Луку, но напрасно.

После Баранцевича на Луку приезжал А. С. Суворин и артист П. М. Свободин.[8] Дружба с этими лицами началась у брата Антона со времени постановки его пьесы «Иванов» на Александринской сцене в Петербурге, и хотя с А. С. Сувориным он был знаком еще несколько раньше по своему сотрудничеству в «Новом времени», но приезд старика на Луку еще более укрепил их дружбу. Они близко сошлись. Не разделяя взглядов «Нового времени», Антон Чехов высоко ценил самого Суворина, отделяя его от газеты, и дорожил его дружбой. В течение нескольких лет он писал ему искренние письма, высказывая в них свои заветные мысли и переживания, которые доказывают близкие отношения, существовавшие между старым публицистом и молодым писателем.

Верстах в полутора от усадьбы, в которой мы жили, находилась большая вальцовая мельница о шестнадцати колесах. Стояла она в поэтической местности на Пле, вся окруженная старым дубозым лесом. Сюда-то и ездили на простом выдолбленном из обрубка дерева челноке Чехов и Суворин на рыбную ловлю. Целые часы они простаивали у ее колес, ловили рыбу и разговаривали на литературные и общественные темы. Оба из народа, оба — внуки бывших крепостных и оба одаренные от природы громадными талантами и отличавшиеся редкой образованностью, они почувствовали друг к другу сильную симпатию. Эта дружба повлекла за собой громадную переписку с обеих сторон, которая продолжалась затем долгие годы и кончилась только во время

известного процесса Дрейфуса,[9] когда «Новое время» резко и недобросовестно стало на сторону его обвинителей. Старик до самой смерти продолжал любить Чехова, но охлаждение со стороны молодого писателя, начавшееся еще за границей, во время самого разбирательства дела Дрейфуса, продолжалось и в России. Не разрывая сразу, Чехов переписывался с Сувориным все реже и реже; время, отделявшее их друг от друга, пространство тоже делали свое дело, и наконец переписка эта, содержавшая в себе столько удивительных мыслей, столько новых и оригинальных суждений и так характеризовавшая Чехова как мыслителя, прекратилась совсем.

Сын простого солдата, сражавшегося при Бородине, Суворин выдержал экзамен на звание приходского учителя и занимался педагогией в уездных училищах гор. Боброва и Воронежа. Но влечение к литературе заставило его писать то стихи, то прозаические пустячки и помещать их в разных столичных журналах, пока, наконец, он не сделался в начале шестидесятых годов постоянным сотрудником в «Русской речи», издававшейся известной графиней Сальяс, и не переехал в Москву. Он очень любил вспоминать об этом времени и часто мне о нем рассказывал. Он имел привычку во время таких рассказов ходить взад и вперед по комнате, и я помню, как я уставал, следуя за ним, но всегда слушал его с большим удовольствием. Он рассказывал очень образно, с тонким юмором, пересыпая свою речь удивительными сравнениями, и часто делал отступления в сторону, так как его то-и-дело осеняла все новая и новая мысль. Он рассказывал мне, как, приехав в Москву, он попал в самую

тяжкую бедность. Надежды на литературный заработок, который обеспечил бы его в столице, не оправдались, и ему пришлось поселиться не в самой Москве, а за семь верст от нее, в деревне Мазилове, и каждый день босиком, для сбережения обуви, ходить в город в редакцию. Когда забеременела у него жена и не было даже копейки на акушерку, — а роды уже приближались, — он пришел в отчаяние и, не достав денег, в бессилии опустился на лавочку на Сретенском бульваре. Далее я буду писать уже со слов моего брата Антона Павловича. Когда он сидел на лавочке, какой-то молодой человек с большой папкой подмышкой подсел к нему. Они разговорились. Молодого человека тронуло его положение. Он полез в карман и вынул оттуда пакет с пятью сургучными печатями.

— Вот, маменька прислала мне пятнадцать рублей, — сказал он. — Я их только что получил в почтамте. Если хотите, возьмите их.

Это было находкой для Суворина. Чтобы не остаться в долгу, он спросил у молодого человека, кто он и как его зовут.

Это оказался В. П. Буренин, тогда еще только ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, а впоследствии известный памфлетист и критик «Нового времени».

Из Москвы А. С. Суворин переехал в Петербург, где сделался ближайшим сотрудником коршевских «С.-Петербургских ведомостей», и писал там под псевдонимом А. Бобровский и Незнакомец. Это был самый пышный расцвет Суворина как журналиста. Его фельетонами зачитывались. В них он, как говорится, бил не в бровь, а прямо в глаз, за что и был приговорен

на целые полгода к тюремному заключению. От него досталось всем высшим мира сего, при этом он так искусно обличал их, что трудно было к нему придраться. Газета «С.-Петербургские ведомости» была казенной, и исключительно благодаря фельетонам А. С. Суворина ее отобрали от В. Ф. Корша, передали другому арендатору (за взятку) [10] и отстранили от нее Незнакомца. Тогда он перешел в «Биржевые ведомости» и стал продолжать там свои воскресные фельетоны. Это продолжалось до 1876 года, когда вдруг вспыхнуло на Балканском полуострове Герцеговинское восстание, втянувшее затем Россию в Русско-турецкую войну. За очень дешевую сумму А. С. Суворин купил право на издание газеты «Новое время», поручил все дело жене, а сам отправился корреспондентом на войну. Проникнув в штаб сербского князя Милана, он завязал там отношения и стал из первых же рук получать мельчайшие подробности сражений и посылать их для напечатания в свою же газету «Новое время». Жена отправляла ее прямо в пачках на войну, и там ее расхватывали в розницу свои же офицеры-русские в какие-нибудь полчаса. Только из нее они узнавали подробности тех сражений, в которых участвовали, а часто даже и то, остались ли они победителями или были побеждены. Это и было залогом успеха газеты. Не прошло и пяти-шести лет, как уже определилось, что главными подписчиками стали военные и чиновники, и благодаря этому она мало-по-малу стала приобретать свойственный ей специфический характер.

Между тем Суворин стал стареть; сделались взрослыми его дети от первой жены и овладели

газетой целиком. А. С. Суворин почти отстранился от нее, выступал в ней только в пламенных «Маленьких письмах», в которых все еще можно было узнать прежнего Незнакомца, и весь ушел в изучение эпохи Смутного времени, в беллетристику, историю литературы и в драматургию. В это-то время и познакомился с ним Антон Чехов. Страстный любитель книги, А. С. Суворин широко развернул книгоиздательство, безгранично удешевил книгу (напр., «Сочинения Пушкина» в 10 томах — 1 р. 50 коп.). Тем временем в газете, носившей его имя, стал проявляться дух ненавистничества к национальному меньшинству. Совершенно непонятное ожесточение против Финляндии, Польши и Прибалтийских провинций, не говоря уже об евреях, приводило в смущение даже равнодушных людей. Это ненавистничество резче всего выразилось в 1898 году, когда в Париже начался известный процесс Дрейфуса, заинтересовавший все европейские и американские умы.

Через Суворина я познакомился с почтеннейшим А. Ф. Кони. [11]

С произведениями отца А. Ф. Кони я был знаком уже давно по его водевилям, на которых любил посмеяться в театре; самого же Анатолия Федоровича, которого уже много времени привык уважать за его судебную деятельность и за ученые и литературные труды, я лично еще не знал. Я застал Кони в его кабинете одного, представился и передал ему пакет от Суворина. Мой брат, Антон Павлович, тогда уже получил Пушкинскую премию от Академии Наук, в присуждении которой участвовал и Анатолий Федорович, и мы разговорились об этом. Я собрался ухо-

дить, но Кони меня задержал насильно. Разговор перешел с Пушкинской премии на самого Пушкина, и меня поразило то, что Кони знал всего Пушкина наизусть и декламировал его с увлечением и вдохновенно, иногда подымая руку кверху. Потом опять разговорились о брате Антоне Павловиче. Кони говорил о нем с дрожью в голосе, глаза его покрылись влагою и на его бритом лице, с бородкой точно у английского квакера, появилось нежное, чисто-отеческое выражение.

— Ах, какой он талант!—восклицал Кони.— Какой значительный, прекрасный талант!

Впоследствии, когда я стал серьезно выступать на литературном поприще, Кони делал доклад в Академии Наук и о моей книге «Очерки и рассказы», и они были удостоены ею почетного отзыва. Это было для меня полной неожиданностью.

Актер Павел Матвеевич Свободин приезжал к нам на дачу на Луку не раз. После постановки в Петербурге пьесы Антона Чехова «Иванов» и суворинской драмы «Татьяна Репина», что было в 1889 году, в которых Свободин принимал участие, этот артист очень привязался к брату Антону, и они сдружились. Павел Матвеевич, или, как мы в шутку называли его по-французски, «Поль-Матьяс», и мой брат Антон, оба выдающиеся юмористы, смешили все население Луки своими остроумными выходками, затевали смехотворные рыбные ловли, на которые Свободин выходил во фрачной паре и в цилиндре, и были неистощимы на шутки. Нужно только представить себе человека на деревенском берегу реки, заросшем камышами, в белой манишке

и при белом галстуке, во фраке, в цилиндре и в белых перчатках, с серьезным видом удящего рыбу, и мимо него в выдолбленных челноках проезжавших крестьян. Целой компанией ездили в Ахтырку — тогда захолустный провинциальный городишко, где, остановившись в гостинице, Свободин выдал себя за графа, а брат Антон за его лакея, чем оба они и привели в немалое смущение прислугу. Свободин, как артист, выполнял свою роль изумительно.

Приезжал он к нам потом и в Мелихово, уже совсем почти перед смертью, и оставил самые лучшие воспоминания. Он очень любил всех нас и, приезжая к нам, чувствовал себя как в родной семье, что не стеснялся высказывать вслух. В последние годы своей жизни он сделался необыкновенно мягким, нежным, привязчивым, и когда он гостил у нас, то казалось, что на всем белом свете кроме нас у него не было ни единой близкой души. Привозил он к нам с собой и своего сына Мишу, очень похожего на него и уже тогда обещавшего быть таким же талантливым, как и его отец, но судьба этого мальчика была очень печальна. Будучи студентом, он был найден застрелившимся на лестнице совершенно чужого для него дома, как говорили, перед дверью любимой им женщины. Сам Свободин умер осенью 1892 года от разрыва сердца на сцене Михайловского театра в Петербурге, прямо на посту, в гриме и в костюме, во время представления комедии Островского «Шутники».

По мысли Антона Чехова, Суворин затеял издание романов Евгения Сю («Вечный жид») и Александра Дюма («Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» и пр.). Чехов настаивал, чтобы ро-

маны эти, в особенности А. Дюма, были изданы в сокращениях, чтобы из них было выпущено все ненужное, только лишний раз утомлявшее читателя, не имевшее никакого отношения к развитию действия и удорожавшее книгу. Суворин согласился, но выразил сомнение, что едва ли у него найдется лицо, которое сумело бы сделать такие купюры. На это Антон Павлович вызвался сам. Ему были высланы в Мелихово книги, изданные еще в 50-х и 60-х годах, и Антон Павлович принялся за яростные вычеркивания, не щадя текста, целыми печатными листами. Это было в то время, когда гостил у нас Свободин. Милейший Поль-Матьяс уединился в уголок, и в самый тот момент, когда, сидя на турецком диване, Антон Павлович занимался избиением младенцев, нарисовал на него карикатуру: сидит Чехов с «Графом Монте-Кристо» в руках и вычеркивает из этой книги карандашом целые страницы; за его спиной стоит Александр Дюма, и горькие слезы струятся у него из глаз прямо на книгу. Эту карикатуру Антон Павлович бережно хранил у себя в бумагах, но где она теперь, я не знаю.[12] Между прочим, в один из приездов Свободина в Мелихово брат Антон написал свою повесть, вышедшую потом в свет под заглавием «Рассказ неизвестного человека». Он долго не решался посылать ее в печать и сделал это только после того, как прочитал ее вслух Павлу Матвеевичу. Я помню, как это чтение происходило в саду, днем, причем у Свободина было очень серьезное лицо. Он вставлял свои замечания. Первоначально эта повесть была озаглавлена так: «Рассказ моего пациента», но Свободин посоветовал брату Антону переменить это заглавие

на приведенное выше. Это чтение меня тогда очень удивило, потому что я знал, что Антон Павлович никогда никому сам своих произведений не читал и осуждал тех авторов, которые это делали.[17]

Одновременно со Свободиным гостил на Луке у Линтваревых их знакомый — молодой профессор Харьковского университета В. Ф. Тимофеев. Он только что вернулся из командировки за границу и отлично представлял тамошних профессоров-немцев. Это был веселый, жизнерадостный молодой человек, с которым Антон Павлович, к ужасу Линтваревых, любил выпить по-студенчески. Линтваревы же боялись в своем доме водки, как огня. Я уверен, что если бы В. Ф. Тимофеев приезжал на Луку чаще и гостил в ней подольше, то он и Антон Павлович сделались бы большими друзьями.

Однажды мы пошли на Псел купаться. С нами был Свободин. Когда Тимофеев разулся, то мы, к удивлению своему, увидели, что одна из пяток у него была темно-желтого цвета. Намазал ли он ее иодом или таким появился на свет, я не знаю. Но, заметив это, Антон Павлович серьезно спросил профессора:

— Владимир Федорович, когда вы курите, то вы далеко держите пятку от папиросы?

Мы все так и покатились со смеху. Особенно долго смеялся Свободин.

Пьеса Чехова «Иванов», о которой я упомянул выше, шла в Петербурге уже в исправленном виде. В своем первоначальном виде она была поставлена в первый раз в театре Корша в Москве 19 ноября 1887 года. Написана она была совершенно случайно, наспех и сплеча. Встретившись как-то с Ф. А. Коршем в его же театре

в фойе, Чехов разговорился с ним о пьесах вообще. Тогда там ставили легкую комедию и водевиль, серьезные же пьесы были не в ходу, и, зная, что Чехов был юмористом, Корш предложил ему написать пьесу. Условия показались выгодными, и брат Антон принялся за исполнение. [14] В сумрачном кабинете корнеевского дома на Кудринской-Садовой он стал писать акт за актом, которые тотчас же передавались Коршу для цензуры и для репетиций. Но, несмотря на такое спешное исполнение, «Иванов» сразу же завоевал всеобщее внимание. Смотреть его собралась самая изысканная московская публика. Театр был переполнен. Одни ожидали увидеть в «Иванове» веселый фарс в стиле тогдашних рассказов Чехова, помещавшихся в «Осколках», другие ждали от него чего-то нового, более серьезного, — и не ошиблись. Успех оказался пестрым: одни шикали, другие, которых было большинство, шумно аплодировали и вызывали автора, но в общем «Иванова» не поняли, и еще долго потом газеты выясняли личность и характер главного героя. Но как бы то ни было, о пьесе заговорили. Новизна замысла и драматичность приемов автора обратила на него всеобщее внимание как на драматурга, и с этого момента начинается его официальная драматическая деятельность. «Ты не можешь себе представить, — пишет Антон Павлович брату Александру после первого представления «Иванова», — что было. Из такого малозначащего дерьма, как моя пьесенка, получилось чорт знает что... Шумели, галдели, хлопали, шикали. В буфете едва не подрались, а на галлерее студенты хотели вышвырнуть кого-то и полиция вывела двоих. Возбу-

ждение было общее. Сестра едва не упала в обморок. Дюковский, с которым сделалось сердцебиение, убежал, а Киселев ни с того, ни с сего схватил себя за голову и очень искренно возопил: «Что теперь я буду делать?» Актеры были нервно напряжены... на другой день после спектакля в «Московском листке» рецензия Петра Кичеева, который обзывает мою пьесу наглоциничной, безнравственной дребеденью» (23 ноября 1887 года).

Я был на этом спектакле и помню, что происходило тогда в театре Корша. Это было что-то невероятное. Публика вскакивала со своих мест, одни аплодировали, другие шикали и громко свистали, третьи топали ногами. Стулья и кресла в партере были сдвинуты со своих мест, ряды их перепутались, сбились в одну кучу, так что после нельзя было найти своего места; сидевшая в ложах публика встревожилась и не знала, сидеть ей или уходить. А что делалось на галерке, то этого невозможно себе и представить: там происходило целое побоище между шикавшими и аплодировавшими. Поэтому неудивительно, что всего только две недели спустя после этого представления брат Антон писал из Петербурга: «Если Корш снимет с репертуара мою пьесу, тем лучше. К чему срамиться? Ну их к чорту».

На следующий же день после описанного спектакля к брату Антону пришел на квартиру известный драматург Виктор Александров-Крылов, [15] на пьесах которого держался тогда репертуар московского Малого театра. Слава Фемистокла не давала Мильтиаду [16] спать. С первого же нюха почуяв в «Иванове» много оригинально-

го и предчувствуя дальнейший успех этой пьесы, он предложил брату Антону свои услуги: он-де исправит ее, кое-что в ней изменит, кое-что прибавит, но с тем, чтобы он, Крылов, шел за полу-автора и чтобы гонорар делился между ними пополам. Это возмутило Чехова, но он и вида не подал, как ему было неприятно это предложение, и деликатно ему отказал.

Когда затем брат Антон написал свой известный, обошедший всю Россию водевиль «Медведь», то и Крылов одновременно же выпустил свой водевиль «Медведь сосватал», и, должно быть, неспроста. Брат Антон рассказывал нам потом со смехом по приезде своем из Петербурга, что с таким же точно предложением пришел Крылов к одному из тамошних молодых драматургов, но с обратным предложением: чтобы этот драматург оживил его, Крылова, пьесу. Когда тот достаточно поработал над ней, то Крылов уплатил ему за труд всего только десять рублей. С молодым драматургом от обиды сделалась истерика.

— Я швырну их ему в морду! — волновался драматург.

А сидевший тут же, тоже драматург, В. А. Тихонов мрачно ему сказал:

— Это деньги подлые. Их надо пропить.

Почти одновременно с «Ивановым» шла в театре Корша пресмешная пьеса Ивана Щеглова[17] «В горах Кавказа». Тогда же появилась в продаже и книга этого же автора «Гордиев узел»; и пьеса и книга брату Антону и мне очень понравились: в них было что-то свежее, молодое, прыскавшее юмором, как из фонтана. Каково же было наше удивление, когда этим самым

Иваном Щегловым оказался отставной капитан, да еще совершивший турецкий поход и участвовавший во многих сражениях — Иван Леонтьевич Леонтьев. Антон Павлович скоро познакомился с ним, они быстро сошлись, и Жан, как прозвал его Чехов, стал частенько у нас бывать. Он оказался необыкновенно женственным человеком, любвеобильным, смеявшимся высоким, тоненьким голоском, точно истерическая девица. Беллетристическое дарование у него было недюжинное, но после успеха «В горах Кавказа» он поверил в свой драматический талант, сбился на театр и из этого ничего не вышло. Его приезд к нам в Москву был всегда желанным, он всякий раз был так мил и ласков, что не симпатизировать ему было невозможно. Щеглов был очень сентиментален, присылал нашей матери открытки с цветочками, написанные таким «трагическим» почерком, что трудно было разобрать, и не упускал ни малейшего случая, чтобы поздравить ее с праздниками, с днем ангела или рождения. Антон Павлович очень журил его за пристрастие к театру, но Жан Щеглов оставался непреклонен и, несмотря на всю мягкость своего характера, неумолим. Так его театр и сгубил. Следующие его пьесы успеха не имели, он впал в уныние и умер во цвете лет. Это он, этот самый Жан Щеглов, дал Антону Павловичу за его необыкновенные успехи в литературе кличку «Потемкин». Так Чехов иногда и подписывался в своих письмах. Нежность и хрупкость Жана всегда трогали Антона, и он писал ему иногда так: «Жму Вашу щеглиную лапку». И действительно, в Жане Щеглове было что-то такое, что делало его похожим на птичку.

Тогда же в Малом театре в Москве шла «потрясающая» драма П. М. Невежина[18] «Вторая молодость», имевшая шумный успех. В сущности говоря, эта пьеса была скроена по типу старинных мелодрам, но в ней играли одновременно Федотова, Лешковская, Южин и Рыбаков — и публика была захвачена, что называется, за живое и оглашала театр истерическими рыданиями, в особенности когда Южин, игравший молодого сына, застрелившего любовницу своего отца, является на сцену в кандалах проститься со своей матерью, артисткой Федотовой. Пьеса делала большие сборы.

На одном из представлений «Второй молодости» Антон Павлович встретился в фойе Малого театра с Невежиным. Они разговаривали об «Иванове» и о «Второй молодости».

— Ну, что вы еще пописываете? — спросил сверху вниз у молодого Чехова уже старый драматург.

— А что вы пописываете? — спросил в свою очередь Чехов.

П. М. Невежин с гордостью ответил:

— Разве после «Второй молодости» можно еще что-нибудь написать?

Я встречался с этим Невежиным не раз. Он перешел потом на беллетристику и часто приносил мне свои романы.

— Вы только прочтите!— говорил он.— Очень интересный роман! Не оторветесь! Замечательный роман! Захлебнуться можно!

На Ф. А. Корше мне хочется несколько остановиться.

В Москве жила антрепренерша мадам Бренко, про которую Антон Чехов как-то сострил,

что она производит свою фамилию от немецкого глагола «brennen», что значит «гореть, прогорать». Вскоре после открытия в Москве памятника Пушкину там же, на Тверской, братья Малкиель выстроили большой дом и в нем театр. Про них тогда распевали с открытых сцен куплетисты:

А на Тверской, чей дом большой?.
А на Неглинной, чей дом большой такой и длинный?

Это был первый в Москве частный театр после прекращения монополии императорских театров. Театр этот так официально и назывался: «Театр близ памятника Пушкина». Его-то и арендовала мадам Бренко. Она пригласила лучших провинциальных артистов, как напр., Иванова-Козельского, Писарева, Андреева-Бурлака, и ставила пьесы из самого разнообразного репертуара, начиная с «Блуждающих огней» Антропова и кончая «Лесом», «Гамлетом» и «Побежденным Римом». Но как ни старательно были поставлены все эти спектакли, мадам Бренко все-таки прогорела. Гораздо удачнее в ее театре были дела присяжного поверенного Ф. А. Корша,[19] который арендовал у нее вешалку. Как тогда говорили, он во всяком случае и при всяком сборе оставался в барыше. Если мадам Бренко принуждена была раздавать для видимости контрамарки, то Корш с каждого контрамарщика обязательно взыскивал по 20 коп. за гардероб. И когда мадам Бренко, наконец, прекратила свое дело и после нее образовалось товарищество артистов, переехавшее затем в театр Лианозова в Газетном переулке, то Корш и там держал вешалку. Наконец все дело перешло в его руки. Так

как вечеровой расход составлял всегда приблизительно около одной трети всего сбора, а вешалка при полном сборе тоже давала точно такую же сумму, то, чтобы не иметь убытка, дирекция широко стала рассылать контрамарки по всем учебным заведениям. Конечно, каждому студенту было приятно пойти задаром в театр и сидеть в партере, но он обязан был уплатить за хранение платья 30 коп., что и требовалось доказать. Таким образом вешалка окупала вечеровой расход, а все платные зрители, как бы их мало ни было, шли на чистую прибыль.

Страстно любя театр и сам сочиняя и переводя пьесы («Сваха», «Борьба за существование», «Мадам Сан-Жен»), Корш решил выстроить в Москве свой собственный театр. Я не помню, кто ему помог в этом деле, но только его театр в Москве, в Богословском переулке, выстроился быстро, по щучьему велению. Его строили и днем и ночью, при электрических дуговых фонарях — спешили открыть его не позже 16 августа. И когда он был открыт, в нем сильно пахло сыростью и в некоторых местах текло со стен. Это было в 1882 году. Труппа Корша была вся как на подбор: Градов-Соколов, Солонин, Светлов, знаменитый В. Н. Давыдов, Глама-Мещерская, Рыбчинская, Мартынова, Кошева, Красовская,— все они составляли редкостный ансамбль в легкой комедии, которая собственно и составляла главный гвоздь театра Корша, и увековечили свои имена в истории театра вообще. В декораторы был приглашен упоминавшийся мной художник А. С. Янов, который пленял публику эффектными декорациями. Для тургеневского «Вечера в Сорренто» он закатил целый Неаполь

с мигавшими огоньками по набережной и на лодках и кораблях, с Везувием, из которого струился дымок, и с луной, отражавшейся в заливе. Певец К. С. Шиловский пел романс «Si tu m'aimais». Публика сходила с ума.

Театр Корша был очень популярен у московской публики. В отчете о его десятилетней деятельности, который долго валялся у нас в Мелихове, я помню мы с удивлением читали, что за этот срок театр Корша посетило более полутора миллиона зрителей, было поставлено свыше пятисот пьес. Он познакомил русскую публику с произведениями Сарду, Пальерона, А. Додэ и других выдающихся иностранных драматургов, которых негде было бы посмотреть ни в каком другом театре. Но главная заслуга Ф. А. Корша — это введение утренних, общедоступных спектаклей из классического репертуара, на которые охотно стала стекаться молодежь и примеру которых стали подражать многие провинциальные театры в России.

VII

1889 год. Снова на Луке. — Смерть брата Николая. — Антон скитается в Одессе и Ялте. — Встреча с Шавровыми. — Мои занятия иностранными языками. — Дружба Антона Павловича с Е. М. Шавровой. — Как ставился «Леший». — Дело скопинского банка Рыкова. — Первое кровохарканье брата. — «Прекрасная Лика». — Визиты в дом Корнеева на Кудринской-Садовой. — А. П. Ленский. — Немного о М. Н. Ермоловой. — В. Н. Давыдов читает у нас «Власть тьмы». — Его «отсебятины» в «Калхасе». — Н. А. Лейкин. — Банкет в честь французского президента Лубе. — Лесков у Чехова. — Щепкина-Куперник. — Отзывчивость А. И. Чупрова. — П. Н. Островский. — Эпизод из отношений А. Н. Островского с братом-министром. — Посещение Короленко.

Но возвращаюсь опять к Луке. Семья Чеховых провела там и следующее лето 1889 года, но уже не так весело и жизнерадостно, как это

было в предшествовавшем году, хотя знакомство обогащалось все новыми и новыми персонажами: к Линтваревым стали приезжать и подолгу гостить у них известный экономист Вас. Павл. Воронцов [1] и не менее известный деятель по обычному праву А. Я. Ефименко.[2]

В это лето чеховскую семью постигло несчастие: умер художник Николай. Смерть его застала брата Антона врасплох, когда он отправился в Сорочинцы Полтавской губернии на лошадях, и в другие гоголевские места по дороге, чтобы осмотреть продававшийся хутор, который он хотел приобрести для постоянного жительства. «Было серое небо, шел дождь, приехали к родственникам Линтваревых, Смагиным,[3] жившим в селе Бокумовке Полтавской губернии, ночью, мокрые, продрогшие; легли спать в холодные постели, уснули под шум проливного дождя. Утром была все та же вологодская погода — и не успели притти в себя, как приехал из Миргорода мужиченко и привез мокрую телеграмму: «Коля скончался». Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом ехать по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов. Наша семья еще не знала смерти и гроб пришлось видеть у себя впервые» (из письма Антона Павловича Чехова).

Похороны были самые простые. Брат Антон затосковал и вскоре же после похорон уехал из Луки скитаться. Он стал было собираться за границу, но не поехал, почему-то застрял в Одессе, где в то время была на гастролях московская труппа Малого театра. Здесь он познакомился с перешедшей из балета в драму молоденькой артисточкой «Глафирочкой» Пановой, которая

ему, повидимому, нравилась и за которую потом в Москве сватала его жена артиста Ленского, но было очень трудно сладить в этом отношении с Чеховым и от сватовства пришлось вскоре отказаться. Затем он переехал в Ялту. Какое-то странное равнодушие овладевает писателем, он ко всему теряет охоту и интерес, но проходит два месяца — он снова полон веры в себя, в свое призвание. И живя все в том же доме Корнеева на Кудринской-Садовой, он лихорадочно принимается за литературную работу, и из-под его пера выходят такие вещи, как «Скучная история» и пьеса «Леший», которую он поставил в театре Абрамовой 27 декабря 1889 года. К этому присоединилась еще тяжелая кропотливая работа по собиранию материалов для поездки на Сахалин. Но об этом я коснусь ниже.

Как я сообщил уже, летом 1889 года Антон Павлович отправился из Одессы в Ялту, без желаний, намерений и определенных планов, хотя и прожил там довольно порядочное время. В одну из своих прогулок по какой-то улице этого города он проходил мимо чьей-то дачи. Вдруг отворилась калитка, и из нее вышли три очень хорошо одетые девушки. Одна из них сказала, как бы про себя, но вышло так, что брат ее услышал:

— Вот писатель Чехов.

Своим столичным видом они обратили на себя внимание Антона Павловича. После этого он встретил их в городском саду, и в конце концов они познакомились. Это были три сестры Шавровы, харьковские землевладелицы, постоянно проживавшие в Петербурге и приехавшие на лето в Крым.

Но на этом знакомство Чехова с Шавровыми не прекращается. Возвратившись в Москву, Антон Павлович как-то вечером получает посланную через горничную раздушенную записку. Это писала ему мать этих девушек, сама мадам Шаврова, которая сообщала, что они всей семьей переехали на жительство из Петербурга в Москву, и просила его возобновить с ними так счастливо начавшееся в Ялте знакомство.

Барышни Шавровы много читали, им были известны многие произведения тогдашних новейших русских и иностранных писателей, причем последних они всегда читали только в подлинниках. Я же был тогда знаком с иностранной литературой только по плохим переводам, чисто макулатурного свойства, и в разговорах с ними меня это очень стесняло. Это меня заставило приняться за изучение языков, и я, овладев английским, французским и итальянским языками, стал переводчиком.

Старшая из сестер — Елена Михайловна [4] — оказалась писательницей, и о помещении того или другого ее произведения в печати иногда хлопотал Антон Павлович. Он очень одобрял ее дарование, советовал ей развивать его и работать как можно больше, но, как женщина своего круга и к тому же не нуждавшаяся в самом необходимом, она не придавала особого значения своему таланту. Подписывалась она под своими произведениями «Шастунов» и вела с Антоном Павловичем переписку. Письма к ней вошли в собрание чеховских писем, изданных нашей сестрой, Марией Павловной, где эта даровитая дама пожелала скрыть свою фамилию под инициалами «Е. М. Ш.» Между Антоном Павловичем Чехо-

вым и «Е. М. Ш.» установилась хорошая и прочная дружба. Чехов старался продвинуть ее рассказы в печать и часто достигал этого, но всегда журил ее за то, что она мало обращала внимания на свой талант и редко пишет. Приезжая из Мелихова в Москву по делам, он иногда заранее списывался с нею и любил позавтракать вместе в «Большой Московской» или в «Эрмитаже». Она называла его своим «chèr maître» — так он и подписывался в письмах, которые к ней посылал. Она превосходно пела, и было в ней что-то такое, что надолго упрочивало с ней дружбу. Ее фотография до сих пор хранится в его кабинете в Чеховском доме в Ялте.

Вторая ее сестра — Ольга Михайловна — впоследствии стала известной актрисой, разорвав с тем кругом, в котором жила, и выступала довольно удачно в ролях классического репертуара. Ее фамилия по сцене была — Дарская. Узнав, что она поступила на сцену, — а это было для нас совершенной неожиданностью, — Антон Павлович в разговоре со мной это искренно одобрил и назвал ее умницей. Когда Антон Павлович жил в Мелихове и ему понадобилось усилить ресурсы на постройку школ, то обе сестры любезно предложили свои услуги, приезжали из Москвы в Серпухов и устраивали любительский спектакль, причем привели местную публику в изумление роскошью своих нарядов, блеском брильянтов и талантливой игрой.

В 1889 году Чехов снова имеет дело с театром. Служивший у Корша актер Н. Н. Соловцов, подвизавшийся в чеховском водевиле «Медведь» и имевший в нем огромный успех,

отошел от Корша и вместе с актрисой Абрамовой открыл в Москве, на Театральной площади, свой собственный театр. Но дела их не пошли. Не было боевых пьес. Оставалось рождество и затем масленица, на которые только и можно было возлагать серьезные надежды. Но, чтобы сорвать сбор, нужно было иметь какую-нибудь значительную пьесу, а ее-то у Соловцова и не было. Тогда он обратился к Чехову:

— Поддержите, Антон Павлович, выручьте, дайте пьесу.

До наступления рождества оставалось всего каких-нибудь десять—двенадцать дней. Соловцов предлагал тысячу рублей — условия были заманчивы. И вот брат Антон принялся за пьесу «Леший». Каждый день он писал по акту, я переписывал их в двух экземплярах, Соловцов приезжал и отбирал эти экземпляры и посылал их с кондуктором в Петербург на цензуру. Работа кипела. Брат Антон писал, Соловцов сидел сбоку и подгонял, я переписывал — и таким образом пьеса к сроку была готова, прошла несколько раз под ряд, автор получил за нее тысячу рублей сполна. Соловцов все-таки «прогорел», но брат Антон остался своей пьесой недоволен. Да и нельзя было остаться ею довольным. «Леший» был написан наспех [5] и поставлен у Соловцова ужасно. Необыкновенно тучная и громоздкая актриса М. Н. Г. взяла на себя молоденькую роль первой инженю; первый любовник, Рощин-Инсаров, объясняясь перед ней в любви, не мог обхватить ее в свои объятия и называл ее прекрасной. Зарево лесного пожара было таково, что возбуждало усмешки. Брат Антон тогда же снял

«Лешего» с репертуара, долго держал его в столе, не разрешая его ставить нигде, и только несколько лет спустя переделал его до неузнаваемости, дав ему совершенно другую структуру и заглавие. Получился «Дядя Ваня». В «Лешем» Антону Павловичу очень понравился актер Зубов,[6] и действительно, этот премьер абрамовской сцены был тогда великолепен.

В это время Антона Павловича изводили приступы кашля, особенно по ночам. Незаметно, но настойчиво этот кашель подготовлял почву для серьезной его болезни, но он не хотел обращать на него внимание и серьезно лечиться. Первое кровохарканье случилось с ним еще в 1884 году в московской судебной палате, когда он вел для «Петербургской газеты» записки по известному Рыковскому процессу.[7] Сущность этого процесса была такова. В маленьком провинциальном городишке Скопине Рязанской губернии некто купец Рыков открыл банк и, благодаря широковещательной рекламе, стал стягивать к себе капиталы со всей России. В надежде получить громадные проценты на вклады, которые обещал Рыков, к нему стали посылать свои сбережения деревенские попы и дьяконы и мелкое провинциальное чиновничество. Банк стал оперировать целыми миллионами. Рыкова выбрали в городские головы, он стал украшать Скопин и превратил его из убогого городишки в приличный город; все ему верили, правление банка шло у него на поводу, и все шло благополучно до тех пор, пока, как говорили тогда, великие князья и генерал-губернаторы не стали черпать из его кассы в долг без отдачи. Правда, Рыков получал медали, ордена, но все это не

восполняло кассы. В результате — крах банка, и Рыков вместе со всем своим правлением и бухгалтерами оказался на скамье подсудимых. Следствие было подстроено так, что во всем должен был оказаться главным растратчиком Рыков, что он ел омаров, раки-бордолез и пил шампанское. Стоило только ему на суде открыть рот, чтобы указать, кто именно его разорил, как прокурор тотчас же лишал его слова и его выводили из залы суда обратно в подследственную комнату и приставляли к нему стражу. На этом процессе, на котором брату Антону приходилось просиживать в течение целых двух недель буквально и дни и ночи и в то же время писать дома в газеты, с ним приключился его первый припадок кровохарканья. Но болезнь его, в своем настоящем значении, стала выясняться для его семьи только много лет спустя, уже в Мелихове, когда писателя пришлось почти насильно отвезти в клинику в Москву. Особенно тяжело прошла для него свирепствовавшая в 1888 году инфлуэнца; которую он перенес в Москве, но и при ней, как, впрочем, и всегда, он не давал врачам выслушивать себя и поставить точный диагноз.

Особенно сильно кашлял брат Антон, когда мы жили на Кудринской-Садовой. Мы занимали там узенький, странной архитектуры двухэтажный дом. В нижнем этаже помещались кабинет и спальня брата, моя комната, парадная лестница, кухня и две комнаты для прислуг. В верхнем — гостиная, комнаты сестры и матери, столовая и еще одна комната с большим фонарем. На моей обязанности лежало зажигать в спальне у Антона на ночь лампаду, так как он часто просыпался и не любил темноты. Нас от-

деляла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через нее на разные темы, когда просыпались среди ночи и не спали. Вот тут-то я и наслушался его кашля.

В это время Антон Павлович не мог оставаться один. У нас вечно толклись молодые люди, наверху играли на пианино, пели, вели шутливые разговоры, а внизу он сидел у своего стола и писал. Но эти звуки только подбадривали его. Он не мог жить без них: он всегда принимал самое живое участие в общем веселом настроении.

В этот дом впервые вошла к нам Л. С. Мизинова,[8] или, как ее называл брат Антон, «прекрасная Лика». Это была действительно прекрасная девушка и по внешности и по внутреннему содержанию. Все на нее заглядывались. В этой девушке не было и тени тщеславия. Природа, кроме красоты, наградила ее умом и веселым характером. Она была остроумна, ловко умела отпарировать удары, и с нею было приятно поговорить. Мы, все братья Чеховы, относились к ней как родные, хотя мне кажется, что брат Антон интересовался ею и как женщиной. Она была нашей самой желанной гостьей, и ее приход или приезд к нам сразу же разряжал сгустившуюся атмосферу. Сестра моя, Мария Павловна, обыкновенно представляла ее новым знакомым так: «Подруга моих братьев и моя». Наш отец любил ее как дочь.

Познакомились мы с нею следующим образом. Мария Павловна была в то время учительницей гимназии и, возвратясь как-то оттуда домой, сказала нам, братьям:

— Вот подождите, я приведу к вам хорошенькую девицу.

И действительно, она скоро привела к нам «прекрасную Лику», девушку лет восемнадцати, конфузливую и стыдливую, которая, повидимому, чувствовала себя несколько неловко, когда все мы сразу окружили ее со всех сторон. Но все обошлось отлично, мы шутили, она нам очень понравилась, и было как-то странно, что и она тоже была учительницей гимназии, хотя и только что поступившей на должность. Казалось, что никто из учениц ее не мог бы слушаться. Мы думали, что этим наше знакомство и ограничится, но она пришла к нам и в следующий раз. Все мы были в это время наверху и, когда услышали ее звонок, столпились на площадке лестницы и стали во все глаза смотреть вниз. Ей сделалось неловко, и она от стыда закрыла лицо в висевшие на вешалке шубы.

Это был наш самый лучший друг. Приятели Антона Павловича увлекались ею. Художник Левитан (ну, конечно!) объяснялся ей в любви, а писатель И. Н. Потапенко заинтересовался ею всерьез. Но о ней я буду говорить еще и впереди, так как она сделалась в нашей семье буквально своим человеком.

Дом Корнеева на Кудринской-Садовой мог бы гордиться тем, что в нем перебывало столько знаменитых людей.

О визитах к нам Григоровича и Чайковского я уже говорил. Я помню, как нас дарил своей дружбой превосходный артист московского Малого театра А. П. Ленский.[9] Он не только бывал у нас как гость, но и услаждал наш слух своими талантливыми декламациями. Еще до представления на сцене шекспировского «Ричарда III» он уже прочитал нам свою роль так, как

намеревался читать ее на сцене, — и действительно прочел изумительно. Он и упоминавшаяся мною знаменитая актриса М. Н. Ермолова владели тогда сердцами всех москвичей,— это были перворазрядные артисты и всегда выступали вместе; классический репертуар был немыслим без них. Я счастлив, что видел М. Н. Ермолову в самом начале ее сценической деятельности в Народном театре на Солянке в 1876 году, когда она еще была совсем юной актрисой.

М. Н. Ермолова, А. П. Ленский и А. И. Южин-Сумбатов были неподражаемы в пьесе Виктога Гюго «Эрнани». Пьеса захватила всю тогдашнюю Москву, о ней говорили везде и повсюду и обсуждали ее на все лады. Так как в этой пьесе было, по мнению цензуры, кое-что неприемлемое для русских театров, то ее разрешено было ставить под именем не «Эрнани», как следовало на самом деле, а «Гернани», и без указания, что пьеса именно Виктора Гюго: авось публика не догадается и не пойдет в театр, чтобы лишний раз не испортить своей благонамеренности. Но театр все время был переполнен и достать билет составляло целый подвиг.

Посетил нас на Кудринской-Садовой и артист В. Н. Давыдов [10] — светило Коршевской и Александринской сцены. Это был прямо-таки необыкновенный человек. При своей тучности он был чрезвычайно подвижен. Он изображал, например, балерину, как она танцует самые замысловатые танцы, — и вам и в голову не пришло бы, что перед вами вовсе не балерина, а толстый мужчина. Тогда только что из-под пера Льва Толстого вышла «Власть тьмы». Давыдов разыграл нам

ее у нас же в гостиной на все голоса, причем у него бесподобно вышла Анютка. Это был очень просвещенный человек. Когда он служил у Корша, то играл заглавную роль в чеховском «Иванове», и благодаря ему же увидел свет и одноактный этюд Чехова «Калхас» («Лебединая песня»). Я был тогда на первом представлении. Этот этюд был мне известен во всех подробностях, потому что я его переписывал не раз. И, батюшки-светы, сколько в него вставил тогда «отсебятины» Давыдов! И про Мочалова, и про Щепкина, и про других актеров, так что едва можно было узнать оригинал. Но в общем вышло недурно и так талантливо, что брат Антон не обиделся и не возразил. Давыдов неподражаемо рассказывал случаи из провинциальной актерской жизни, причем тут же разыгрывал все сцены в лицах, и нужно было быть очень флегматичным человеком, чтобы не почувствовать после его рассказов боли в брюшине от смеха.

Приехал к нам туда в первый раз и издатель «Осколков» Н. А. Лейкин. Низенький, широкоплечий и хромой на одну ногу, он представлял собою очень оригинального человека. Отличаясь большим, своеобразным гостеприимством, он и сам любил бывать в гостях, что называется — рассесться, снять сюртук и целые часы провести за столом. Он в компании любил здорово «урезать» и после сытного, обильного ужина посылал за отвратительной «углицкой» копченой колбасой и ел ее с наслаждением. Лейкин был самородком. Из крестьян Ярославской губернии, он был привезен в Питер и отдан там в лавочники, но благодаря своему дарованию выбился в люди, сделался писателем, стал домовла-

дельцем, гласным думы и одним из заправил Городского кредитного общества. Он написал, по его словам, свыше 20 000 рассказов и сценок и всегда с гордостью и достоинством носил звание литератора. Его дом на Дворянской улице был открыт для всех. Он очень любил угостить приятеля и, чтобы показать ему, как он к нему расположен и как ничего не жалеет для него, всегда указывал цену того, чем угощал:

— Кушайте этот балык. Он стоит 2 рубля 75 копеек за фунт. Выпейте этой марсалы. Я заплатил за нее 2 рубля 80 копеек за бутылку. Вот эти кильки вовсе не 45-копеечные, а стоят целые 60 копеек жестянка.

Бездетный, живя лишь с супругой Прасковьей Никифоровной, он купил для себя огромное имение графа Строганова на Неве, с целым дворцом. Когда приехал к нему туда брат Антон и он повел его по комнатам и стал показывать ему свой дворец, то Антон Павлович удивился и спросил его:

— Зачем вам, одинокому человеку, вся эта чепуха?

Лейкин ответил:

— Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь — я, Лейкин — хам.

Последний раз я встретил его в Петербурге уже после смерти брата Антона Павловича, на банкете печати в честь французской прессы, устроенном во время приезда в Петербург французской эскадры с президентом Лубе.[11] Лейкин ударял себя кулаком в грудь, на глазах у него появились слезы, и он сказал:

— Я Чехова родил!

Этот грандиозный банкет происходил в ресторане «Медведь» на Б. Конюшенной. Было приглашено свыше тысячи человек, среди которых важно расхаживали представители французской прессы, приехавшие в Петербург вместе со своим президентом Лубе фабриковать франко-русский союз и раздувать таковые же симпатии. Среди них выделялся редактор газеты «Фигаро» [12] Гастон Кальметт. Только утром в тот день все они были пожалованы русскими орденами и надели их на себя. Было как-то неловко видеть человека во фраке с орденом Станислава 3-й степени, болтавшимся в петличке, т. е. с таким орденом, какой у нас стыдились надевать на себя сколько-нибудь уважавшие себя чиновники. Между тем, награждая французов орденами, почему-то страшно на них поскупились. Так, например, сам Гастон Кальметт получил только Анну на шею, хотя, повидимому, был очень доволен.

Гостям были предложены концерт и ужин, которым устроители банкета хотели пустить французам пыль в глаза и показать, что такое русское гостеприимство. Танцовала Кшесинская, [13] пела сверкавшая брильянтами Вяльцева, [14] неистовствовал цыганский хор. Зернистая икра, осетрина, балыки, красный борщ из свеклы и прочие национальные представители русского чревоугодия были в изобилии. Суворин был избран в председатели и обратился к гостям с приветствием на французском языке. Начались речи с обеих сторон. Затем — тосты за Россию и Францию, за собратьев по перу, за седьмую великую державу (т. е. за печать) и т. д., а один из русских представителей печати постучал пал-

кой об стол и, когда водворилась тишина, очевидно, в пику «Новому времени» провозгласил следующий тост:

— Поднимаю бокал за А. С. Суворина и мадам Анго.

— За кого? — спросил не расслышавший Суворин.

— За А. С. Суворина, — поправился писатель, — и за мадам Адан.[15]

Не понявшая, в чем дело, музыка заиграла туш. Русские почувствовали томительную неловкость, а французы, не зная ни одного слова по-русски, стали неистово аплодировать. Тяжелое напряжение рассеялось только благодаря цыганам, которые вслед за этим инцидентом так завопили и затопали ногами, что своим шумом покрыли все русские и французские голоса.

Не помню, кто именно, но кажется, тот же Лейкин привел к нам писателя Н. С. Лескова.[16] Тогда это был уже седой человек с явными признаками старости и с грустным выражением разочарования на лице. Он привез с собой в подарок брату Антону Павловичу свою книжку, «Стальную блоху», с надписью, но мы давно уже были знакомы с Лесковым как с писателем по его романам «Соборяне» и «Запечатленный ангел», которые нам очень нравились. К «Мелочам архиерейской жизни» мы относились как к юмористическому произведению, а «Некуда» и «На ножах» положительно нас разочаровали. Эти два романа сильно вооружили в свое время читателей против их автора, испортили его репутацию, и бедняга Лесков заведомо был причислен к яростным реакционерам. К старости он сознал свои ошибки, искренно раскаивался

в содеянных им романах, и когда посетил брата Антона, глаза его наполнились слезами, и он трогательно сказал:

— Вы — молодой писатель, а я — уже старый. Пишите одно только хорошее, честное и доброе, чтобы вам не пришлось в старости раскаиваться так, как мне.

В это время он уже исповедывал непротивление злу, был вегетарианцем; своим ласковым, мягким обращением Лесков произвел на нас трогательное впечатление.

Как раз против нашего дома на Кудринской-Садовой помещалась редакция журнала «Артист». [17] Издателем его был Ф. А. Куманин, высокий, крупный человек, сопевший при разговоре, за что брат Антон и прозвал его «Сапегой». В этом «Артисте» печатались пьесы брата «Медведь», «Предложение» и др., там же нашли себе приют и два моих водевиля. По тому времени это был очень хороший, изящный журнал, в котором принимали участие лучшие силы. Между прочим, в нем поместила свое первое драматическое произведение «Летняя картинка» Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. [18] Я не знаю в точности, были ли с нею знакомы раньше мой брат и сестра, но только я лично имел удовольствие познакомиться с нею именно тогда; ее привел к нам Ф. А. Куманин. Это была малюсенькая, живая, интересная девушка, очень остроумная. Тогда я торопился изучением языков и даже получил от Лики Мизиновой прозвание «Английская грамматика», так как всегда появлялся среди гостей с учебником в руках, — и меня сразу же поразило в Татьяне Львовне, тогда совсем еще юной девушке, чуть не гим-

назистке, ее основательное знание языков. Она стала бывать у нас, приезжала потом в Мелихово.

По мере того как она выступала в печати, ее дарование все крепло и развивалось, пока, наконец, из нее не получилась переводчица Мольера и Ростана и оригинальная беллетристка. Я могу с уверенностью сказать, что, путешествуя по всей России и заглянув почти во все ее углы, я всюду встречал молодежь, которая восхищалась ее произведениями и цитировала наизусть ее стихи. Я помню, с каким энтузиазмом публика встретила ее перевод пьесы «Принцесса Греза», ставившейся в столицах и на сценах лучших провинциальных театров. Декламировались из этой пьесы целые монологи, сочинялись на ее слова романсы и распевались повсюду. Перу Щепкиной-Куперник принадлежит также и несколько оригинальных драм, с большим успехом ставившихся в столицах.

В один из своих приездов в Мелихово Татьяна Львовна, вместе с Антоном Чеховым, крестила у наших соседей Шаховских их дочь, и с тех пор мой брат Антон всегда величал ее «кумой».

Через Татьяну Львовну я познакомился с артисткой Л. Б. Яворской.[19] Я никогда не был поклонником ее дарования, особенно мне не нравился ее голос, сиплый, надтреснутый, точно у нее постоянно болело горло. Но она была женщина умная, передовая, ставила в свои бенефисы пьесы, как тогда выражались, «с душком», ее любила молодежь и у нее определенно был литературный вкус. Во всяком случае, она пользовалась большим успехом у Корша в Москве и у Суворина в Петербурге.

Это был период в жизни Антона Чехова, когда работа в «Русской мысли» сблизила его с членами этой редакции М. А. Саблиным [20] и В. А. Гольцевым. [21] К этой компании примкнул и И. Н. Потапенко, и в обществе «прекрасной Лики», моей сестры, Танечки Куперник и других они провели несколько вечеров у Тестова и в «Эрмитаже». Это были милые, незабвенные часы. Чехов и Потапенко были неистощимы на остроты, а слегка подвыпивший В. А. Гольцев говорил речи, всякий раз начиная их своей стереотипной фразой:

— Позвольте мне, лысому российскому либералу... и т. д.

Вся эта компания тянулась всегда за Антоном и шла туда, куда предлагал именно он. Тогда морским министром был назначен адмирал Авелан, и милые собеседники прозвали Чехова Авеланом, а себя — его эскадрой.

В промежутках «эскадра» собиралась или в «Лувре» у Л. Б. Яворской, или же в «Мадриде» у Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Был у нас в те времена и еще один знакомый, это — несравненный человек, профессор политической экономии А. И. Чупров. [22] Его очень любила молодежь, а слушательницы высших женских курсов Герье, в том числе и моя сестра, Мария Павловна, увлекались им. Это был необыкновенно порядочный человек, отличающийся при этом глубокой ученостью и огромным ораторским талантом. С безграничным участием относившийся к учащейся молодежи, он вечно за кого-нибудь хлопотал, кого-нибудь выгораживал, и у правительства был на самом худом замечании. Я бывал у него, и мне прежде всего бро-

салась в глаза та скромная, даже, пожалуй, бедная обстановка, в которой он жил. А между тем, как профессор он получал не мало. Говорили, что он очень благотворил. Его отличительной чертой было то, что он решительно никому не отказывал в услуге.

На Новинском бульваре жил брат знаменитого драматурга А. Н. Островского, Петр Николаевич.[23] Когда Антон Павлович писал свою «Степь», А. Н. Плещеев сообщил ему из Петербурга, что у него есть в Москве друг, именно Петр Николаевич Островский, который обладает замечательным критическим талантом, но так робок, что боится выступать в печати; при этом, — писал А. Н. Плещеев, — это поразительно добрый и образованный человек. И действительно, вскоре после этого к нам пришел уже пожилой рыжий человек, который отрекомендовался Петром Николаевичем Островским. Антон Павлович усадил его, и между ними начался тотчас же чрезвычайно интересный разговор о литературе: я сидел тут же и слушал его. Когда Петр Николаевич ушел, очень надымив в кабинете плохой сигарой, то брат Антон Павлович сказал мне:

— Замечательный критик! А сколько погибло цивилизаций и великолепных произведений искусства только потому, что в свое время не было хороших критиков!

Кажется, на другой или на третий день после того, как Чехов послал Островскому только что законченную рукопись «Степи», Петр Николаевич сам занес к Антону Павловичу его «Степь» и при ней толстое письмо. Он не вошел к нам в дом, а позвонил и подал их через дверь. Вероят-

но, постеснялся, или из скромности, потому что в конверте оказалась пространная критика «Степи», которая очень понравилась автору своей деловитостью.

Говоря об Островских, мне хочется не забыть и того, что я знал об отношении их старших братьев. У Александра и Петра Николаевичей Островских был брат Михаил Николаевич, министр государственных имуществ, необыкновенный сухарь и самый заядлый петербургский чиновник. Антон Павлович любил рассказывать про него следующую историю.

— Бывало, драматург А. Н. Островский после представления какой-нибудь своей пьесы в Александринском театре прображничает с актерами всю ночь, и когда уже поздним утром возвращается с перегаром домой, вдруг вспоминает, что у него в Петербурге есть брат-министр, которого по родству следовало бы навестить. Он приказывает извозчику ехать прямо в министерство. Михаил Николаевич уже у себя в кабинете. Докладывают. «Проси». Входит прокутивший всю ночь драматург.

Не отрываясь от бумаг, министр указывает ему на кресло и продолжает подписывать.

— Да, брат Миша, — начинает драматург, — и кутнули же мы здорово! Горбунов [24] сочинил такой, брат, монолог, что пальчики оближешь. А такой-то... чорт его подери, был в ударе и такое рассказывал, что до сих пор животики от смеха болят. А потом поехали к цыганам... А после этого всей компанией отправились на Новую деревню и, чтобы не мутило, выпили у какого-то лавочника по ковшу огуречного рассольцу...

Министр резко откидывается на спинку кресла, бросает перо и сухо обрывает брата:

— Ничего я не вижу, Саша, в этом хорошего! [25]

Драматург поднимается и с укоризной отвечает:

— А что ж, по-твоему, эти твои бумаги лучше? И братья расстаются.

Из встреч в корнеевском доме я не забуду и следующую. Однажды вся наша семья сидела наверху (мы кончали обедать), когда вдруг внизу послышался звонок. Сестра кого-то ожидала, вышла из-за стола и стала спускаться вниз. Я ее опередил и, так как пришедшему никто не отворял, сам отпер парадную дверь и впустил гостя. Это был невысокого роста человек с окладистой широкой бородой.

— Я Короленко... — сказал он.

Боже мой! Короленко! [26] Вот неожиданность! Мы все уже давно были знакомы с его произведениями, увлекались ими, а «Сон Макара» я знал чуть не наизусть.

В это время и брат Антон стал спускаться по лестнице вниз. Они познакомились, и мы трое вошли в кабинет.

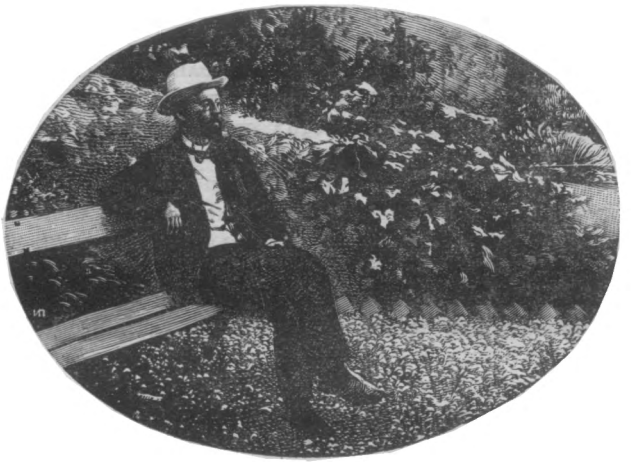
Бывает иногда так, что совершенно чужие, незнакомые люди вдруг сходятся сразу, с первого же слова. Так произошло и на этот раз. Короленко очаровал нас своей простотой, искренностью, скромностью и умом. Разговорились. Я жадно слушал, как он рассказывал о своей ссылке в Сибирь, куда не только Макар не гонял своих телят, но даже и ворон не залетал. А когда после долгих лет изгнания он получил наконец право возвратиться в Россию и, добравшись до

Тюмени, сел на поезд железной дороги, то так обрадовался вагону, что стал громко при всех рыдать.

— Сижу и плачу... — рассказывал он. — Пассажиры думают, что это я с горя, а я, наоборот, от радости.

Он засиделся до вечера. Антон Павлович пригласил его наверх, где наши мать и сестра уже хлопотали около самовара, и мы и там продолжали его слушать.

Приезжал он к брату Антону и в Ялту после исключения М. Горького из числа академиков; оба они обсуждали вопрос о том, как бы устроить так, чтобы в виде протеста отказались от своих академических мест и все остальные почетные академики. Кажется, они встречались еще и в Нижнем Новгороде и в Петербурге: Я очень сожалею, что судьба не дала мне случая столкнуться вновь с этим замечательным человеком. Но воспоминание о первом знакомстве с ним не изгладится из моей памяти никогда.



VIII

Как осуществлялась поездка Антона Павловича на Сахалин. — Возвращение. — В Туле на вокзале. — Бурятие-ромонах и манусы. — Чехов в Европе. — На даче под Алексином. — Жизнь в Богимове. — В работе над «Дуэлью».—Споры А. П. с Вагнером на тему о вырождении.

В апреле 1890 года Антон Павлович предпринял поездку на остров Сахалин. Поездка эта была задумана совершенно случайно. Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом или шутит.

В 1889 году я кончил курс в университете и готовился к экзаменам в государственной комиссии, которая открылась осенью этого года, и потому пришлось повторять лекции по уголовному

праву и тюрьмоведению. Эти лекции заинтересовали моего брата, он прочитал их и, вдруг, засбирался. Начались подготовительные работы к поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать материалы. Сестра и ее подруги делали для него выписки в Румянцовской библиотеке, он доставал оттуда же редкие фолианты о Сахалине. Работа кипела. Но его озабочивало то, что его, как писателя, не пустят на каторгу или же покажут ему не все, а только то, что можно показать. Антон Павлович отправился в январе 1890 года в Петербург хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду. С другой стороны, его беспокоило то, что его поездке могут придать официальный характер. Обращение к стоявшему тогда во главе главного тюремного управления Н. М. Галкину-Враскому [1] не принесло никакой пользы, и без всяких рекомендаций, а только с одним корреспондентским бланком в кармане, он двинулся, наконец, на Дальний Восток.

В апреле мы проводили его в Ярославль. На вокзале собрались вся наша семья и знакомые, причем Д. П. Кувшинников повесил ему через плечо в особом кожаном футляре бутылку коньяку со строгим приказом выпить ее только на берегу Великого океана (что Чехов потом в точности и исполнил).

Была поздняя холодная весна. Чехов должен был по Волге и Каме добраться до Перми и оттуда по железной дороги до Тюмени, а потом продолжать весь свой путь через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. Великой Сибирской железной дороги тогда еще не существовало, и с неимоверными трудностями и лишениями, застиг-

нутый в дороге половодьем и распутицами, брат Антон добрался наконец, 11 июля, до Сахалина, прожил на нем более трех месяцев, прошел его весь с севера на юг, первый из частных лиц сделал там всеобщую перепись населения, разговаривал с каждым из 10 000 каторжных и изучил каторгу до мельчайших подробностей. Проехал он на лошадях, при самых неблагоприятных условиях, целые два месяца, совершив переезд на колесах свыше 4000 верст.

Как ни было неожиданно решение брата Антона ехать на Сахалин, но оно было твердо и крепко основывалось на его глубоком убеждении в том, что он должен ехать туда во что бы то ни стало. Он не был уверен в том, что эта его поездка даст какой-нибудь ценный вклад в науку или в литературу, но рассчитывал, что за всю эту поездку для него выпадут два-три дня, о которых он будет потом с горечью или с восторгом вспоминать всю жизнь. Но, повидимому, главной причиной его поездки на Сахалин было осознание того, что, как он писал А. С. Суворину, «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сантиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски: мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа

знает, что виноваты не смотрители, а все мы» (9 марта 1890 года).

Отправляясь в такой дальний путь, Антон Павлович и все мы были очень непрактичны. Я, например, купил ему в дорогу отличный, но громоздкий чемодан, тогда как следовало захватить с собой кожаный, мягкий и плоский, чтобы можно было на нем в тарантасе лежать. Нужно было взять с собою чаю, сахару, консервов, — всего этого в Сибири тогда нельзя было достать. Необходимо было захватить с собою лишние валенки или, наконец, те, которые им были взяты с собою, предварительно обсоюзить кожей. Но всего этого мы не сделали. А между тем, нашего путешественника ожидали впереди «страшенный холодище» днем и ночью, необыкновенное разлитие рек, борьба «не на жизнь, а на смерть» с препятствиями, полное отсутствие еды в дороге, кроме «утячей похлебки», а затем — глубокая грязь, в которой он «не ехал, а полоскался», и далее — жары, пыль и удушливый дым от громадных лесных пожаров. Легочный процесс тогда еще не особенно сильно давал себя знать. Привыкший к простому образу жизни, умевший удовлетворяться лишь самым малым и не жаловавшийся ни на что, Антон Чехов бодро продолжал свой путь.

В его отсутствие судьба забросила меня в город Алексин Тульской губернии, расположенный на высоком берегу Оки. Это был тогда жалкий городишко, только в 700 жителей, но отличавшийся великолепным климатом. Окрестности его были очаровательны. Вид с кручи, с того места, где находится собор, вниз на Оку, на протянувшийся через нее, как кружево, железнодо-

рожный мост, на поселок со станцией на том берегу, а главное, на большую дорогу, обсаженную березами, и рядом с ней на железнодорожное полотно, в особенности, когда шел поезд, — не поддается описанию. По ту сторону, у самой станции, на лужку, некто Ковригин выстроил три дачки. Из одной дачи был виден весь железнодорожный мост и круто поднимавшийся противоположный берег Оки. Я и не воображал тогда, что эта дачка сыграет в нашей жизни роль.

7 декабря со скорым поездом в пять часов вечера Антон Чехов возвратился в Москву. Еще из Одессы он дал мне в Алексин телеграмму, чтобы я встретил его именно в Москве вместе со всеми родными. Так как мы поджидали его к десятому, а он приехал на три дня раньше, то пришлось спешить, и мы с матерью, которая в это время гостила у меня в Алексине, решили выехать к нему навстречу в Тулу, так как добраться до Москвы раньше его мы все равно не успели бы. Когда мы подъехали к Туле, скорый поезд, на котором ехал Антон, уже прибыл с юга, и брат обедал на вокзале в обществе мичмана Глинки, возвращавшегося с Дальнего Востока в Петербург, и какого-то странного с виду человека-инородца, с плоским широким лицом и с узенькими косыми глазками. Это был главный священник острова Сахалина, иеромонах Ираклий, бурят, приехавший вместе с Чеховым и Глинкой в Россию и бывший в штатском костюме нелепого сахалинского покроя. Антон Павлович и Глинка привезли с собою из Индии по комнатному зверьку мангусу,[2] и когда они обедали, эти мангусы становились на задние

лапки и заглядывали к ним в тарелки. Этот сахалинский иеромонах с плоской, как доска, физиономией и без малейшей растительности на лице, и эти мангусы казались настолько диковинными, что вокруг обедавших собралась целая толпа и смотрела на них, разинув рты.

— Это индеец? — слышались вопросы. — А это обезьяны?

После трогательного свидания с писателем я и мать сели с ним в один и тот же вагон, и все пятеро покатили в Москву. Оказалось, что кроме мангуса брат Антон вез с собой в клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в пальмовую кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и продал ее тоже за мангуса.

В Москву мы приехали уже при огнях, и не успел наш поезд подойти к вокзалу, как в вагон ворвалась дама с криками: «Где сын? где сын?» и бросилась обнимать Глинку. Это была его мать, баронесса Икскуль,[3] выехавшая к нему навстречу из Петербурга.

С вокзала поехали домой на Малую Дмитровку, в дом Фирган: брат Антон с матерью впереди, а я с «индейцем» позади. Почтенный бурят остановился у нас. По приезде, мангуса спустили с веревочки, чтобы дать ему отдохнуть с дороги, и отворили дверцу клетки пальмовой кошки. Она тотчас же выскочила из нее и забилась глубоко под библиотечный шкаф, из-под которого вылезала потом очень редко, да и то большею частью только по ночам, чтобы есть. Мангус с первых же минут почувствовал себя в Москве как дома. Он сразу вообразил себя хо-

зяином и не было никакой возможности унять его любопытство. Он то-и-дело вставал на задние лапки и совал свою острую мордочку положительно повсюду, в каждую щелочку, в каждое отверстие. Ничего не ускользало от его внимания. Он выскребывал грязь из узеньких щелочек в паркете, отдирал обои и смотрел, нет ли там клопов, прыгал на колени и совал нос в стаканы с чаем, перелистывал книги и залезал лапкой в чернильницу. Раза два или три он поднимался на задние лапки и заглядывал в горящую лампу сверху. Когда он оставался в комнате один, то начинал тосковать, и когда к нему возвращались, он искренно радовался, как собака. К сожалению, сожительство с ним в тесной квартире, да еще зимой, и в особенности с пальмовой кошкой, на которую он ожесточенно нападал, оказалось очень неудобным. В своих экскурсиях за мухами, пауками и вообще благодаря своему необыкновенному любопытству мангус так много портил вещей, так много рвал одежды, обоев и обуви, а главное — ставил Антона Павловича в такое подчас неловкое положение перед посещавшими его знакомыми, что все мы с нетерпением ожидали лета, когда можно будет выехать на дачу и предоставить мангусу свободу на лоне природы. Когда к нам приходил кто-нибудь из гостей и оставлял в прихожей на окошке шляпу или перчатки, можно было смело ожидать, что мангус найдет способ туда проникнуть, вывернуть наизнанку перчатки и разорвать их и сделать кое-что неприличное в цилиндр.

Что же касается пальмовой кошки, то она так и не привыкла к человеку. Все время она прята-

лась, уединялась и, когда приходили к нам полотеры и, разувшись, начинали натирать полы, она вдруг, неожиданно выскакивала из-под шкафа и вцеплялась полотеру в босую ногу. Тот ронял щетку и воск, хватался за ногу, громко взвизгивал и восклицал:

— А чтоб ты издохла, проклятая!

Квартира на Малой Дмитровке была очень тесна, и когда я приезжал, поневоле приходилось иной раз устраиваться на ночлег на полу. Бывало, нечаянно дрыгнешь во сне ногой под одеялом, и вдруг тебе в ногу впивался острыми зубами какой-то нечистый дух: это выползала ночью из-под шкафа пальмовая кошка, забиралась, чтобы погреться, ко мне под одеяло и больно, до крови кусалась.

Брат Антон привез с собою из Сахалина гипсовые группы, исполненные местным каторжником-скульптором и изображавшие сцены из повседневного сахалинского быта: телесное наказание, приковывание провинившегося к тачке и т. п.; к сожалению, эти группы были сделаны из плохого материала и скоро рассыпались сами собой. Конечно, Антон Павлович рассказывал о своих впечатлениях, и в особенности мне, по ночам, так как за теснотою квартиры мы спали вместе в одной комнате. Между прочим, на меня произвели впечатление три сюжета: когда он возвращался обратно через Индию на пароходе «Петербург» и в Китайском море его захватил тайфун, причем пароход шел вовсе без груза и его кренило на 45 градусов, к брату Антону подошел командир «Петербурга», капитан Гутан, и посоветовал ему все время держать в кармане наготове револьвер, чтобы успеть

покончить с собой, когда пароход пойдет ко дну. Этот револьвер теперь хранится в качестве экспоната в Чеховском музее в Ялте. Другой случай — встреча с французским пароходом, севшим на мель. «Петербург» по необходимости должен был остановиться и подать ему помощь. Спустили проволочный канат-перлень, соединили его с пострадавшим судном, и когда стали тащить, канат лопнул пополам. Его связали, прицепили снова, и французский пароход был спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, следовавшие позади, кричали «Vive la Russie!» и играли русский гимн, — и затем оба парохода разошлись, каждый поплыл своей дорогой. Каково же было разочарование потом, когда на «Петербурге» вспомнили, что забыли на радостях взыскать с французов тысячу рублей за порванный перлень (все спасательные средства ставятся в счет спасенному), и таким образом эта тысяча рублей была разложена на всех подписавших протокол о спасении французского судна, в том числе и на моего брата Антона. Третий случай — купанье его в Индийском океане. С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович бросился в воду с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб-лоцманов и приближавшуюся к нему акулу («Гусев»). За все эти перипетии он был вознагражден потом на острове Цейлоне, в этом земном раю. Здесь он, под самыми тропиками, в пальмовом лесу, в чисто феерической сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки.

После грандиозного путешествия, жизнь в Москве сразу же показалась Антону Павловичу

неинтересной, и он уже через несколько дней спустя уехал в Петербург повидаться с Сувориным. Затем оба они вместе уехали за границу. До этого он еще ни разу не бывал в Западной Европе.

Антон Павлович побывал в Вене, но «Голубоглазая Венеция» превзошла все его ожидания. Он пришел от нее в детский восторг. Ее каналы, здания, плаванье в гондолах, Площадь святого Марка и прекрасные вечера заставили его, побывавшего в земном раю на Цейлоне, сознаться, что ничего «подобного Венеции он еще не видал. Хочется здесь навеки остаться», — писал он брату Ивану. Из Ниццы он отправился в Монте-Карло, где проиграл в рулетку 900 франков, но этот проигрыш он ставил себе в заслугу. Он получил благодаря ему новое впечатление, вероятно, подобное тому, какое он испытывал в Индийском океане, когда бросался на всем ходу с парохода в воду: это было его купаньем. Он писал мне по поводу проигрыша: «Я лично очень доволен собой». Побывав в Неаполе, где он влезал на кратер Везувия, в Париже, где вкусил всей его премудрости, и в Биаррице, Антон Павлович повернул, наконец обратно в Москву.

А тем временем подкрадывался уже май, когда необходимо было подумывать о даче, так как нельзя же было прожить все лето в Москве.

И вот мне было поручено найти дачу под Алексином — «во что бы то ни стало». Мои поиски помещения в чьей-нибудь усадьбе оказались безрезультатными, а время не ждало, и я снял одну из тех жалких ковригинских дач у железнодорожного моста на берегу Оки, о которой писал выше.

3 мая, всего только на третий день по возвращении своем из-за границы, Антон Павлович был уже в Алексине. Конечно, моя дача ему не понравилась, так как при ней не было даже забора, а стояла она одиноко у опушки леса, было вообще неуютно и невесело и к тому же с первого же дня задул такой ветер, что не хотелось выходить на воздух.

Поселившись под Алексином, мы тотчас же выписали «прекрасную Лику». Она приехала к нам на пароходе через Серпухов, вместе с Левитаном, и, откровенно говоря, нам негде было их обоих положить. Начались смехи, неистощимые остроты Антона Павловича, влюбленные вздохи Левитана, который любил поманерничать перед дамами. Вообще у нас на берегу Оки сразу както повеселело.

Вместе с Ликой и Левитаном ехал на пароходе, тоже до Алексина, молодой человек в поддевке и в больших сапогах, оказавшийся местным помещиком, некто Е. Д. Былим-Колосовский. Они познакомились. Узнав от Лики, что она едет к Чеховым, которые поселились на даче у железнодорожного моста, Былим-Колосовский принял это к сведению, потому что не прошло и двух дней, как он уже прислал за нами две тройки, приглашая нас к себе. Это было ново для нас, и мы поехали. Путешествие было довольно интересное и загадочное, так как этого Былим-Колосовского мы, Чеховы, не видали в глаза. Проехав 10 — 12 верст, мы увидали себя в великолепной запущенной барской усадьбе Богимове, [5] с громадным каменным домом, с липовыми аллеями, уютной рекой, прудами, водяной мельницей и проч. и проч. Комнаты в доме были

так велики, что эхо повторяло слова. В гостиной были колонны, в зале — хоры для музыкантов. Кончилось дело тем, что, побывав в Богимове, Антон Павлович так пленился им, что решил переселиться туда.

В Богимове мы уже застали готовых дачников: это были В. А. Вагнер, [6] впоследствии известный профессор зоологии, живший там с женой и тетушкой, и семья известного художника, академика А. А. Киселева, которая состояла из премилых детей-подростков, угощавших Антона Павловича спектаклями из ими же самими инсценированных его рассказов.

Брат Антон занимал в Богимове бывшую гостиную — громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядком с дюжину человек. На этом диване он спал. Когда ночью проносилась гроза, от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре утра, и вставал вместе с ним спозаранку и я. Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то-и-дело поглядывая на парк и на поднимавшийся за ним горизонт. Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой каторжную работу. Занимался он, не отрываясь ни на минуту, до одиннадцати часов утра, после чего ходил в лес за грибами, ловил рыбу или расставлял верши. В час дня мы обедали.

Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого

вечера. Вечером же начинались дебаты с зоологом В. А. Вагнером на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и т. д., легшие потом в основу философии фон-Корена в «Дуэли». Интересно, что, побывав на Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то кончено, возврата обратно нет, ибо природа не шутит; а Чехов возражал: как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием.

Между прочим, в Богимово были перевезены также и мангус с пальмовой кошкой. Как-то в июле мангус дал нам представление: мы сидели большой компанией в парке, в одной из липовых аллей, как вдруг выползла длинная, в метр величиной, змея. Дети художника Киселева испугались и повскакали с мест, да и нам, взрослым, стало противно.

— Мангуса сюда! — крикнул брат Антон. — Скорее!

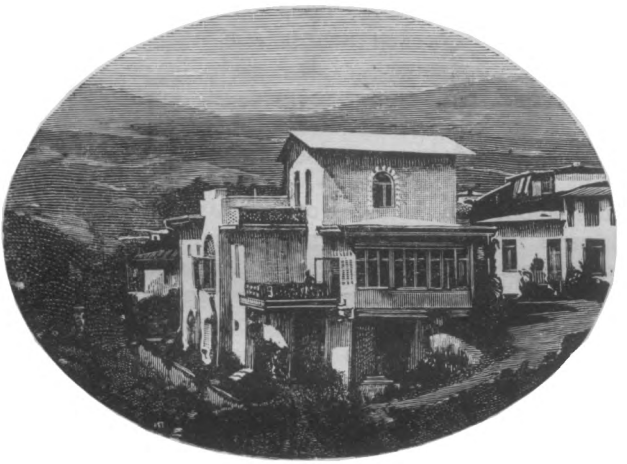
Я сбегал за зверьком и спустил его на землю. И едва он увидел змею, как превратился вдруг в круглый шар и так и замер на месте. С своей стороны змея, почуяв невиданного врага, свернулась клубочком и подняла голову кверху. Произошла долгая немая сцена взаимного гипноза. Затем мангус вдруг точно очнулся от него, бросился на змею, схватил ее зубами за голову, разгрыз и потащил за собою в траву.

Здесь, в Богимове, Антона Павловича посетил Суворин, приезжала из Сум Н. М. Линтварева,

но главной нашей гостье — «прекрасной Лике» — так и не удалось к нам приехать. Это нас очень огорчало.

Было и еще одно развлечение в Богимове, это — устроенная Антоном Павловичем рулетка. Он так писал Суворину: «Мы устроили себе рулетку. Ставка не больше копейки. Доход рулетки идет на общее дело устройство пикников. Я — крупье» (27 мая, 4 часа утра).

Наконец жизнь с мангусами стала прямо невозможной. Один из мангусов убежал, долго пропадал, о нем уже стали забывать, когда нашли его далеко от нас, верст за семь, в каменоломне, толстого и разжиревшего. Он сам пошел в руки нашедшему его человеку. Возвратившись осенью из Богимова в Москву, еще кое-как дотерпели до зимы, а потом Антон Павлович написал письмо в Зоологический сад с просьбой принять от него этих зверей в дар. Был трескучий мороз, приехал какой-то молодой человек в золотых очках, приехал — и с той поры мангус и его спутница, пальмовая кошка, сделались украшением Зоологического сада. Сестра Мария Павловна не раз там их навещала.



IX

Покупка Мелихова. — Дневник отца о мелиховской жизни. — Медовый месяц землевладения Чеховых. — Чеховское «герцогство». — А. П. — мелиховский врач. — «Водяной» вопрос. — Зимой 1893 года. — Потапенко в Мелихове. — «Валахская легенда» Брага и история создания «Черного монаха». — Наплыв гостей. — Приезд М. О. Меньшикова. — Негласный надзор за Антоном Павловичем. — Картограмма доктора Куркина. — Иван Германович Витте. — Новые постройки. — Флигель, где писалась «Чайка». — Сотский Бавыкинского волостного правления.

Еще живя в Сумах Харьковской губернии, брат Антон задумал купить свой собственный хутор. Два раза он ездил с этой целью в Полтавскую губернию, где чуть не состоялась эта покупка в Сорочинцах, близ гоголевского Мир-

города, а после лета, проведенного в Богимове, желание поселиться навсегда в имении перешло в твердое решение.

Зимою 1892 года это решение осуществилось на деле: Чехов стал землевладельцем. Прочитав в газете объявление о продаже какого-то имения близ станции Лопасня Московско-Курской железной дороги, сестра и я отправились его смотреть. Никто никогда не покупает имения зимою, когда оно погребено под снегом, и не представляется ни малейшей возможности осмотреть его подробно, но мы оба были тогда совсем непрактичны, относились доверчиво ко всем, а главное — Антон Павлович поставил нам ультиматум, что если имение не будет куплено теперь же, то он уедет за границу, и потому мы, по необходимости, должны были спешить. От станции имение отстояло в 12—13 верстах, и какова была к нему дорога, можно ли было по ней проехать в слякоть, — этого мы узнать не могли, так как ехали на санях по глубокому снегу, по пути, накатанному напрямик. К тому же ямщики, которые возили покупателей осматривать это имение, считали себя обязанными его расхваливать.

Мы приехали. Все постройки были выкрашены в яркие, свежие цвета, крыши были зеленые и красные и на общем фоне белого снега усадьба производила довольно выгодное впечатление. Но в каком состоянии находились леса, были ли они еще на корню или состояли из одних только пней, мы этого узнать не могли, да, признаться, это нас и не интересовало. Мы верили. Нужна была усадьба более или менее приличная, чтобы можно было в нее въехать немедленно, а эта усадьба, повидимому, такому требованию

могла удовлетворить. Мы видели кругом постройки, но принадлежат ли они к этой именно усадьбе или к другой, соседней, мы спросить не догадались; нас беспокоило только одно — это близость деревни, которая находилась тут же, по ту сторону решетки, составлявшей собою одну из сторон улицы этой деревни. Называлась эта усадьба — Мелихово и находилась в Серпуховском уезде Московской губернии.

Мы вернулись домой, рассказали, и тут же было решено это Мелихово купить. Условия показались Антону Павловичу приемлемыми. Большое цензовое имение в 213 десятин. с усадьбой, лесами, пашнями и лугами, которые он сам же называл «великим герцогством», досталось ему, в сущности говоря, всего только за 5000 рублей. Условленная цена была 13 000 рублей, но остальные 8000 рублей были рассрочены продавцом по закладной на 10 лет. Не наступил еще срок и первого платежа, как бывший владелец прислал письмо, в котором умолял оплатить закладную до срока, за что уступал 700 рублей. Тогда я заложил Мелихово в московском земельном банке, причем оно было им оценено в 21 300 рублей, т. е. в 60% его действительной стоимости. Я взял только ту сумму, которая требовалась для ликвидации закладной, выданной продавцу, и таким образом Антон Павлович освободился от долга частному лицу, и ему пришлось иметь дело с банком и выплачивать ему с погашением долга всего только 300 рублей в год. Какую же квартиру можно было нанять в Москве за 300 рублей в год?

Брат Антон уплатил за имение деньги, так сказать, зажмурившись, ибо до покупки он не

побывал в Мелихове ни разу: он въехал в него уже тогда, когда все формальности были закончены. Оказалось, что во всей усадьбе негде было повернуться от массы решеток и заборов, — так неудобно было в ней расположение угодий и построек. Все было под снегом, и за неясностью границ нельзя было разобрать, где свое и где чужое, но, несмотря на все это, первое впечатление Антона Павловича было, повидимому, благоприятное. Белый снег, близость весны и все новые и новые сюрпризы, открывавшиеся благодаря таянию снега, нравились ему. То вдруг оказывалось, что ему принадлежал целый стог соломы, который считали чужим, то в саду вдруг появилась целая липовая аллея, которой недосмотрели раньше за глубоким снегом. Началась трудовая созидательная жизнь. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же уничтожалось или изменялось. В самой большой комнате со сплошными стеклами устроили для Антона Павловича кабинет; затем шли: гостиная, комната для сестры, спальня писателя, комната отца, столовая и комната матери. Была еще одна комната, проходная, с портретом Пушкина, которая носила громкое название Пушкинской и предназначалась для случайных гостей. Несмотря на все эти недостатки усадьбы, на отвратительную дорогу от станции (13 верст) и на недостаток помещения, наезжало столько гостей, что их негде было разместить, и приходилось иной раз устраивать постели в прихожей и даже в сенях.

Едва только сошел снег, как уже роли в хозяйстве были распределены: сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам

Антон Павлович — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра и до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые; кроме того, на нем лежала обязанность вести дневник: за все долгие годы «мелиховского сидения» он вел его самым добросовестным образом изо дня в день, не пропуская записи ни одного числа. После его смерти дневник этот был собран в одно целое и представлял собою нечто милое, почти детски наивное, но имевшее большой семейный интерес. Он находится сейчас в Московском музее имени А. П. Чехова.[1] Вот некоторые из его записей, взятые мною по памяти на выдержку:

«2-го июня. Клара Ивановна приехала.

«3-го июня. Клара Ивановна уехала.

«4-го июня. Сколь тягостен труд земледельца.

«5-го июня. Пиона расцвелась.

«6-го июня. Елки перед окнами Антоши срублены» и т. д.

Работниками были братья Фрол и Иван, — они же шли и за кучеров. Почти ежедневно я объезжал верхом на своем скакуне все имение и наблюдал, все ли в нем было в порядке.

Нового землевладельца увлекало все: и посадка луковиц, и прилет грачей и скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая желтеньких пушистых гусенят. С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал. Земли оказалось больше, чем нужно, и пришлось поневоле вести полевое хозяйство, но работали общими силами, без всяких приказчиков

и управляющих, и работы эти составляли для нас удовольствие и потребность, хотя и не обходилось, конечно, без разочарований. Иногда до нашего слуха долетали такие фразы мелиховских крестьян:

— Что и говорить, господа старательные!..

— А что, это настоящие господа или не настоящие?

Антон Павлович съездил в Москву и привез от Сытина целый ящик его народных изданий. Книги были сданы в людскую. Каждый вечер грамотей Фрол собирал вокруг себя всю дворню и читал вслух. «Капитанская дочка» Пушкина и «Аммалат-Бек» Марлинского приводили горничных Машу и Анюту в восторг, а старая кухарка Марья Доримедонтовна, доживавшая у нас век, заливалась в три ручья.

Вставая рано, с солнцем, наша семья и обедала рано: в двенадцать часов дня. Антон Павлович купил колокол и водрузил его в усадьбе на высоком столбе. Раз в сутки, ровно в двенадцать часов дня, Фрол или кто-нибудь вместо него должен был отбить двенадцать ударов, и вся округа по радиусу верст в шесть-семь, услышав этот колокол, бросала работу и садилась обедать. Уже в одиннадцать часов утра, успев наработаться и пописать вдоволь, Антон Павлович приходил в столовую и молча, но многозначительно взглядывал на часы. Мать тотчас же вскакивала из-за швейной машинки и начинала суетиться.

— Ах, батюшки, Антоша есть хочет.

Начиналось дерганье звонка в кухню, находившуюся в отдельном помещении. Прибегала Анюта или Маша, и начинались приготовления к обеду. «Скорей, скорей!» Но вот уже стол

накрыт. Совсем идиллическая картина! От множества разных домашних закусочек, приготовленных заботливой рукой Евгении Яковлевны, положительно нет на столе места. Этот обильный стол воспет даже в одном из стихотворений Т. Л. Щепкиной-Куперник. Нет места и за столом. Кроме пятерых постоянных членов семьи, обязательно обедают и чужие. После обеда Чехов уходил в спальню, запирался и там обдумывал сюжеты, если его не прерывал Морфей. А затем с трех часов дня и вплоть до семи вечера трудились снова. Не нужно забывать, что это был тогда медовый месяц землевладения для Чеховых, в крови которых все-таки текла крестьянская земледельческая кровь.

Самое веселое время в Мелихове — это были ужины. За ними, уставши за день, вся семья отдыхала и велись такие разговоры, на какие был способен один только Антон Павлович, да еще в присутствии «прекрасной Лики», когда она приезжала. Затем, в десять часов вечера расходились спать. Тушились огни, и все в доме затихало и только слышно было негромкое пение и монотонное чтение Павла Егоровича, любившего помолиться.

Это идиллическое распределение времени приведено только к примеру. Оно не всегда протекало так идиллически. Прежде всего — уставали ужасно: по новости все схватывались за сельское хозяйство с таким пылом, что к вечеру едва доволакивали ноги до постелей. Я, например, выходил в поле каждый день в три часа утра, еще до восхода солнца, и сам пахал. Один раз так устали, что проспали колоссальный пожар рядом, бок-о-бок с усадьбой, и никто во всем доме так

и не услышал, как его тушили, как звонили на колокольне. Проснулись,—глядь, а сбоку вместо соседской усадьбы один только пепел.

— Братцы, куда девалась Кувшинниковская усадьба?

Мы только переглянулись друг с другом и стали смеяться.

Затем с первых же дней, как мы поселились в Мелихове, все кругом узнали, что Антон Павлович — врач. Приходили, привозили больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал и никого не отпускал без лекарства; его постоянной помощницей, «ассистентом» была сестра Мария Павловна. Расход на лекарства был порядочный, так что пришлось держать на свои средства целую аптеку. Я развешивал порошки, делал эмульсии и варил мази, и не раз, принимая меня за «фершала», больные совали мне в руку пятачки, а один дьячок дал даже двугривенный, и все искренно удивлялись, что я не брал. Будили Антона Павловича и по ночам. Я помню, как однажды среди ночи проезжавшие мимо Мелихова путники привезли к нам человека с проколотым вилами животом, которого они подобрали подороге. Мужик был внесен в кабинет, в котором на этот раз я спал, положен среди пола на ковре, и Антон Павлович долго возился с ним, исследуя его раны и накладывая повязки.

Первая весна в Мелихове была холодная, голодная и затяжная. Пасха прошла в снегу. Затем началась распутица. Дороги представляли собой нечто ужасное. При имении находились только

три заморенные клячи, при этом одна из них была с брачком: не шла вовсе со двора. Другую, когда она была в поле, подменили дохлой, точно такой же масти: вместо кобылы подложили мерина. Таким образом, пока мне не удалось дождаться первой ярмарки и купить там сразу семерых лошадей, пришлось долгое время ездить на одной только безответной кляче, носившей имя «Анна Петровна». Сена на десятки верст вокруг не было ни клочка, пришлось кормить скотину рубленой соломой, но «Анна Петровна» ухитрялась бегать на станцию и обратно, возить Антона Павловича на практику, таскать бревна и пахать.

Надвигался голод.

Но никто из нас не унывал. Не прошло и трех месяцев, как все в усадьбе переменилось: дом стал полной чашей; застучали топоры плотников; появилась скотина, все весенние полевые работы были выполнены без опоздания и по всем правилам науки, вычитанным из книжек. На огороде у Марии Павловны творились чудеса: зрели на воздухе баклажаны и артишки. Антон Павлович повеселел. Он уже мечтал о том, что имение даст ему тысячу рублей прибыли, но засушливая весна и лето свели урожай на-нет; но и это никого из нас глубоко не затронуло. На огороде попрежнему было прекрасно, а тут вывелись гусенята, появилась новая телка альгаусской породы. Лейкин прислал из Петербурга двух изумительных щенков, названных «Бромом» и «Хиной». Собранную рожь, давшую едва сам-три, отмолотили на своей молотилке, отвеяли и тотчас же послали на мельницу в Давыдовский монастырь. Привезенную муку, в виду голодного

времени, Антон Павлович поручил мне продать мелиховским крестьянам по полтора пуда за пуд, но так, чтобы об этом у нас в усадьбе не узнал никто, что я и исполнил в точности. Но об этом все-таки узнали: вероятно, кто-нибудь из крестьян перевесил дома свою покупку, потому что я сам слышал, как в разговоре между собой мужики называли меня «простоватым».

«Бром» и «Хина» были таксы, черненький и рыженькая, причем у «Хины» были такие коротенькие, все в сборах ножки, что брюхо у нее чуть не волочилось по земле. Каждый вечер «Хина» подходила к Антону Павловичу, клала ему на колени передние лапки и жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица и разбитым, старческим голосом говорил:

— Хина Марковна!.. страдалица!.. Вам ба лечь в больницу!.. Вам ба там ба полегчало ба-б.

Целые полчаса он проводил с этой собакой в разговорах, от которых все домашние помирали со смеху.

Затем наступала очередь «Брома». Он так же ставил передние лапки Антону Павловичу на коленку и опять начиналась потеха:

— Бром Исаевич! — обращался к нему Чехов голосом, полным тревоги. — Как же это можно? У отца архимандрита разболелся живот и он пошел за кустик, а мальчишки вдруг подкрались и пустили в него из шприцовки струю воды!.. Как же вы это допустили?

И Бром начинал злобно ворчать.

К первой же осени вся усадьба стала неузнаваема. Были перестроены и выстроены вновь но-

вые службы, сняты лишние заборы, посажены прекрасные розы и разбит цветник, и в поле, перед воротами, Антон Павлович затеял рытье нового большого пруда. С каким интересом мы следили за ходом работ! С каким увлечением Антон Павлович сажал вокруг пруда деревья и пускал в него тех самых карасиков, окуньков и линей, которых привозил с собой в баночке из Москвы и которым давал обещание впоследствии «даровать конституцию». Этот пруд походил потом больше на ихтиологическую станцию или на громадный аквариум, чем на пруд: каких только пород рыб в нем не было! Был в Мелихове, в самой усадьбе, как раз против окон, еще и другой пруд, гораздо меньших размеров; каждую весну он наполнялся водой от таявшего снега и не отличался особой чистотой. В первое же лето приехали к нам в Мелихово П. А. Сергеенко и Н. Н. Потапенко.[2] Увидев этот прудок, уже начавший покрываться зеленью, Сергеенко разделся, бултыхнулся в него и стал в нем плавать.

— Потапенко! — кричал он из воды, — чего ж ты не купаешься? Раздевайся скорее!

— Ну, зачем я буду купаться в этой грязной луже?

— А ты попробуй!

— Да и пробовать не хочу. Одна сплошная грязь!

— Но ведь в химии грязи не существует. Взгляни оком профессора!

— И глядеть не желаю.

— Ну, сделай Антону удовольствие, выкупайся в этой его луже! Сделай ему одолжение. Ведь это ж невежливо с твоей стороны. При-

ехать к новому землевладельцу в гости и не выкупаться в его помойной яме.

Еще раньше был выкопан в Мелихове колодезь, и Антону Павловичу непременно хотелось, чтобы он был на малороссийский лад, с журавлем, но место не позволило, и пришлось сделать его с большим колесом, как у железнодорожных избушек, попадающихся на пути, когда едешь в поезде. Колодезь этот вышел на-славу, вода в нем оказалась превосходной. Антон Павлович самодовольно улыбался и говорил:

— Ну, теперь водяной вопрос для Мелихова решен. Теперь бы еще выстроить новую усадьбу у пруда или перенести эту в другой участок. Вот было бы хорошо! Воображаю, как будет на земле великолепно через двести-триста лет.

И он серьезно стал помышлять о постройке усадьбы. Творческая деятельность была его стихией. Он сажал маленькие деревца, разводил из семян ели и сосны, заботился о них, как о новорожденных детях, и в своих мечтах о будущем был похож на того полковника Вершинина, которого сам же вывел в своих «Трех сестрах».

Зима 1893 года была в Мелихове суровая, многоснежная. Снег выпал под самые окна, отстоявшие от земли аршина на два, так что прибегавшие в сад зайцы становились на задние лапки перед самыми стеклами окон кабинета Антона Павловича. Расчищенные в саду дорожки походили на траншеи. Мы зажили монастырской жизнью отшельников. Мария Павловна уезжала в Москву на службу, так как была в это время учительницей гимназии, в доме оставались только брат Антон, отец, мать и я, и часы тянулись необыкновенно длинно. Ложились еще

раньше, чем летом, и случалось так, что Антон Павлович просыпался в первом часу ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. Он в эту зиму много писал.

Но как только приезжали гости и возвращалась из Москвы сестра Маша, жизнь круто изменялась. Пели, играли на рояле, смеялись. Остроумию и веселости не было конца. Евгения Яковлевна напрягала все усилия, чтобы стол попрежнему ломился от яств; отец с таинственным видом выносил специально им самим заготовленные настоечки на березовых почках и на смородинном листу и наливочки, и тогда казалось, что Мелихово имеет что-то особенное, свое, чего не имела бы никакая другая усадьба и никакая другая семья. Антон Павлович всегда был особенно доволен, когда приезжали к нему «прекрасная Лика» и писатель Потапенко. Мы поджидали их с нетерпением, то-и-дело поглядывая на часы и отсчитывая минуты. Когда слышались, наконец, бубенчики и скрип снега под полозьями саней, подъезжавших к крыльцу, то мы все бросались в прихожую и, не давая раздеваться гостям, заключали их в объятия. Тогда уже дым поднимался коромыслом, ложились спать далеко за полночь, и в такие дни Антон Павлович писал только урывками, только потому, что это было его потребностью. И всякий раз, урвав минутку, он писал строчек пять-шесть и снова поднимался и шел к гостям.

— Написал на шестьдесят копеек, — говорил он улыбаясь.

Случалось, что в это же самое время, по другую сторону его письменного стола, усаживался писать срочную работу и Потапенко. Пока Чехов

сидел за пятью-шестью строками, Потапенко отмахивал уже целые пол-листа, а то и больше. И я однажды слышал такой их разговор:

Чехов: — Скажи пожалуйста, Игнатий Николаевич, как это ты ухитряешься так скоро писать? Вот я написал всего только десять строк, а ты накачал уже целые пол-листа.

Потапенко (не отрывая глаз от бумаги): — Есть бабы, которые не могут разрешиться от бремени в течение целых двух суток, а есть и такие, которые рожают в один час.

Вообще Потапенко писал много и быстро. Его произведения появлялись почти во всех тогдашних толстых и тонких журналах, но у него было столько обязательств, столько ему приходилось посылать алиментов туда и сюда, что никаких заработков ему нехватало. Он вечно нуждался и всегда был принужден брать авансы под произведения, находившиеся еще на корню и даже еще копошившиеся, а может быть, даже и не копошившиеся у него в голове. По части уменья «вымаклачить» от какой-нибудь редакции аванс он был вне всякой конкуренции. Никто кроме него не мог сделать это так артистически. При этом он умел получить непременно крупную сумму, тогда как от всех прочих сотрудников редакторы отделывались только крохами.

— Единственное место, где нельзя получить аванса, — шутил Потапенко, приезжая к нам, — это Мелихово. Здесь и я не сумел бы вымаклачить ничего. [3]

Потапенко оказал большую услугу Антону Павловичу. Как известно, произведения А. П. Чехова («В сумерках», «Хмурые люди» и т. д.) издавала фирма А. С. Суворина. Когда Чехову

понадобились деньги и он хотел рассчитаться с ней, то бухгалтерия этой фирмы ответила, что ему не только ничего не причитается за изданные фирмой книги, но, наоборот, Антон Павлович еще состоит ее должником за типографские работы. Это очень встревожило Чехова. Гостивший тогда в Мелихове Игнатий Николаевич вызвался разобрать это дело по приезде своем в Петербург на месте. И действительно, оказалось, что не Антон Павлович был должен фирме, а с самой фирмы причиталось ему получить чистыми, кажется, свыше двух тысяч рублей.

В Мелихове у Антона Павловича, вероятно, от переутомления расходились нервы, — он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его «дергало». Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось «с корнем», он вскакивал и уже долго не мог уснуть. Но как бы ни было, приезд Лики и Потапенко сильно развлекал его. С Потапенко у него было очень много общих литературных интересов, не говоря уже о том, что, кажется, и сам Потапенко в ту пору переживал самые красивые свои дни. Потапенко пел, играл на скрипке, острил, и с ним, действительно, было весело.

Обыкновенно случалось так, что когда он и Лика приезжали в Мелихово, то Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду «Валахскую легенду» Браги.

О, что за звуки слышу я,
Сердце они пленяют
И на крыльях зефира к нам сюда
Как бы с небес долетают.

В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее с неба песнь ангелов, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки, но мать не слышит их, не понимает ее, и девушка в разочаровании засыпает снова.

Обыкновенно вторую партию в этой легенде играл Потапенко на скрипке.

Выходило очень хорошо. В доме поют красивый романс, а в открытые окна слышатся крики птиц и доносится действительно одуряниваю-щий аромат цветов, щедро насаженных в саду нашей сестрой Марией Павловной.

Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что этот романс имел большое отношение к происхождению его рассказа «Черный монах».

Как-то раз, когда в летний, тихий, безоблачный вечер солнце красным громадным кругом приближалось к горизонту, мы сидели у ворот, выходивших в поле, и кто-то из нас поднял вопрос: почему, когда солнце садится, бывает краснее и гораздо больших размеров, чем днем? После долгих дебатов решили, что в такие моменты солнце уже всегда находится под горизонтом, но так как воздух представляет собой для него то же, что и стеклянная призма для свечи, то, преломляясь сквозь призму воздуха, солнце становится для нас видимым из-под горизонта, уже потерявшим свою естественную окраску и гораздо больших размеров, чем днем, когда оно бывает над горизонтом. Заговорили затем о мираже, о преломлении лучей солнца через воздух и т. д., и в результате возник вопрос: может ли

и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий мираж, третий — четвертый и т. д., до бесконечности. Следовательно, возможно, что сейчас по вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения? Конечно, все это был только юношеский разговор, граничивший со вздором, но решение таких вопросов было для всех нас в Мелихове тогда очень интересным.

Я уже говорил, что обедали в Мелихове в двенадцать часов. Бывали дни, когда весь дом погружался в послеобеденный сон. Даже Хина и Бром переставали бегать и засыпали.

Сижу я как-то после обеда у самого дома на лавочке, и вдруг выбегает брат Антон и как-то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза. Мы все уже привыкли к его «дерганьям» во сне, и я понял так, что это его «дернуло» и он выскочил в сад, не успев еще хорошенько притти в себя.

— Что, опять дернуло? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Я видел сейчас страшный сон. Мне приснился черный монах.

Впечатление черного монаха было настолько сильное, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ.[4] Мне до сих пор непонятно и странно только одно: почему в письме к Суворину от 25 января 1894 года (т. е. полгода спустя после описанного случая) сам Антон Павлович говорит следующее: «Монах же, несущийся через

поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише». Эпизод этот произошел не утром, а в два часа дня, после послеобеденного сна. Впрочем, дело было летом, а письмо было написано зимой, так что не мудрено было и забыть. Да и сущность рассказа брата не в часе.

Шли месяцы, Мелихово менялось с каждым днем. Бывали моменты, когда всего Антона Павловича положительно охватывала радость, но усилившийся геммороя не давал ему покоя, мешал ему заниматься, наводил на него хандру и мрачные мысли и делал его раздражительным из-за пустяков. А тут еще стал донимать его и кашель. В особенности он беспокоил его по утрам. Прислушиваясь к этому кашлю из столовой, мать Евгения Яковлевна вздыхала и поглядывала на образ.

— Антоша опять пробухал всю ночь, — говорила она с тоской.

Но Антон Павлович даже и вида не подавал, что ему плохо. Он боялся нас смутить, а может быть, и сам не подозревал опасности, или же старался себя обмануть. Во всяком случае, он писал Суворину, что будет пить хину и принимать любые порошки, но выслушать себя какому-нибудь врачу не позволит. Я сам однажды видел мокроту писателя, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал:

— Это так, пустяки... Не надо говорить Маше и матери.

Ко всему этому присоединилась еще мучительная боль в левом виске, от которой происходило

надоедливое мелькание в глазу (скотома). Но все эти болезни овладевали им приступами. Пройдут — и нет. И снова наш Антон Павлович весел, работает — и о болезнях нет и помина.

Положение Мелихова на большой дороге из Лопасни в Каширу повлекло за собой то, что к Антону Павловичу стали заезжать многие местные земцы и землевладельцы, были ли они знакомы с ним или нет. Лето же 1893 года было в Мелихове особенно многолюдно. Дом был битком набит приезжими. Спали на диванах и по нескольку человек во всех комнатах; ночевали даже в сенях. Писатели, девицы-почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники с сынишками, — все эти люди, как в калейдоскопе, проходили сквозь Мелихово чередой. Антон Павлович при этом был центром, вокруг которого сосредоточивалось внимание всех: его искали, интервьюировали, каждое его слово ловилось на лету. Но приезжали и люди, плохо понимавшие, что такое деликатность: вваливались охотники с собаками, желавшие поохотиться в чеховских лесах; одна девица, с головою, как определил Антон Павлович, «похожей на ручку от контрабаса», с которой ни он сам, ни его семья не имели ровно ничего общего, приезжала в Мелихово, беззастенчиво занимала целую комнату и жила целыми неделями. Когда кто-нибудь из домашних деликатно замечал ей, что пора, мол, понять, в чем дело, то она немедленно отвечала:

— Я в гостях у Антона Павловича, а не у вас.

Очень часто приезжал сосед, который донимал своим враньем и ни одной фразы не начинал без того, чтобы не оговориться заранее:

— Хотите — верьте, хотите — нет... и т. д.

Около этого же времени посетил Антона Павловича в Мелихове и публицист М. О. Меньшиков.[5] Тогда он был главным персонажем в журнале «Неделя», в книжках которой помещал свои статьи. Публика зачитывалась его статьями о возможности счастья на земле. Находясь под очевидным влиянием философии Л. Н. Толстого, Меньшиков призывал к земле, к труду, к слиянию с природой. Нам было известно, что Меньшиков — бывший морской офицер, — и вдруг к нам приехал в полном смысле человек в футляре: штатский, в больших калошах, в теплом ватном пальто с приподнятым воротником и с громадным дождевым зонтиком, несмотря на сухую летнюю погоду. С розовыми, пухлыми щеками и с жиденькой русой бородкой, он походил скорее на дьячка или начетчика, чем на литератора. Он не показался нам таким интересным, как, бывало, его статьи в книжках «Недели», и, сказать по правде, в Мелихове вздохнули с облегчением, когда он уехал. Позднее, кажется в 1902 году,[6] когда я жил в Петербурге, Меньшиков ко мне вдруг явился неожиданно и молча просидел весь вечер. Я не знал, о чем с ним говорить. И вдруг выяснилась цель его прихода ко мне. Он очень прозрачно намекнул мне, что хотел бы сотрудничать в «Новом времени» и что я мог бы ему оказать в этом протекцию, так как он знает, что А. С. Суворин близок с нашей семьей. Я не обещал ему, но, вероятно, Меньшиков нашел другие возможности проникнуть в «Новое время», так как вскоре же в этой газете стали появляться его «Письма к ближним», в которых никак нельзя было узнать его прежних писаний

в «Неделе». Затем он сделался одним из главных сотрудников «Нового времени», где к нему относились очень благожелательно и, как я слышал, хорошо оплачивали его труд.

Но вернусь обратно в Мелихово.

Как-то помощник исправника, в минуту откровенности, сказал мне:

— Над вашим братом Антоном установлен негласный надзор. Мы получили об этом сообщение.

И, вероятно, благодаря этому, к Антону Павловичу вскоре приехал познакомиться молодой человек в военной форме, отрекомендовавшийся врачом. Он стал изъясняться насчет политики, вызывать на откровенность, горько плакался на то, что его отец будто бы был жандармом и что он считает это проклятием своей жизни, и перешел, наконец, на такие колючие темы, что не трудно было отгадать в нем шпиона. Я присутствовал при этом их разговоре, и было неприятно видеть этого человека, напрашивавшегося на откровенность.

Но в кругу своих близких друзей Антон Павлович чувствовал себя совершенно свободно и всех заражал своею веселостью. Иногда он любил совершать прогулку по своему «герцогству» или в ближайший монастырь — Давыдову пустынь. Запрягали тарантас, телегу и беговые дрожки. Антон Павлович надевал белый китель, перетягивал себя ремешком и садился на беговые дрожки. Сзади него, бочком помещались Лика или Наташа Линтварева и держались руками за этот ремешок. Белый китель и ремешок давали Антону Павловичу повод называть себя гусаром. Компания трогалась, впереди ехал на бего-

вых дрожках «гусар», а за ним телега и тарантас, переполненные гостями.

В Мелихове у нас постоянно жил привязавшийся к нашей семье А. И. Иваненко, гостили подолгу многие другие и приезжали третьи, им же несть числа. Целый месяц прогостил художник О. Э. Браз,[7] писавший для Третьяковской галлереи портрет Антона Павловича, заезжали местные деятели. С особенным радушием Антон Павлович относился к земскому врачу Серпуховской лечебницы И. Г. Витте и к милейшему санитарному врачу П. И. Куркину,[8] впоследствии известному ученому, оставившему ряд трудов в медицинской литературе. Антон Павлович очень любил его, долго переписывался с ним потом из-за границы и из Ялты, и это именно он, доктор Куркин, исполнил картограмму, которую доктор Астров показывает Елене Андреевне в «Дяде Ване». Это был настоящий ученый врач. Когда я приезжал к нему, то меня поражало то, что все стены его квартиры были увешены всевозможными картограммами и таблицами, из которых в один миг можно было постигнуть все, что касалось здоровья населения Серпуховского уезда, на что без этих его произведений требовались бы целые годы.

Другой местный деятель, с которым любил встречаться Антон Павлович, был врач Серпуховской земской больницы Иван Германович Витте.[9] Это был очень талантливый организатор, смелый хирург, и его лечебница, в постройке которой он сам принимал участие, считалась образцовой не только в губернии, но и во всей России. Иван Германович был необыкновенно гостеприимным человеком. Его квартира в Серпухове

служила приютом и брату Антону, когда он приезжал туда по делам. Витте был страстным цветоводом-любителем, и в его маленьком садике при больнице были такие цветы, которые можно встретить под самыми жгучими тропиками. Под конец жизни он, бедняга, ослеп, должен был расстаться с своим детищем, переселиться в Крым и там кончать свои дни. «Напиши ему, — писал мне оттуда Антон Павлович, — ему будет приятно». Но вскоре Иван Германович умер.

Но как ни было теперь многолюдно в Мелихове, все-таки чувствовалась в нем какая-то угрюмость, точно что-то было и ушло безвозвратно или точно сразу все мы постарели на десять или двадцать лет и стали терять интерес во всем том, в чем до сих пор его так широко находили.

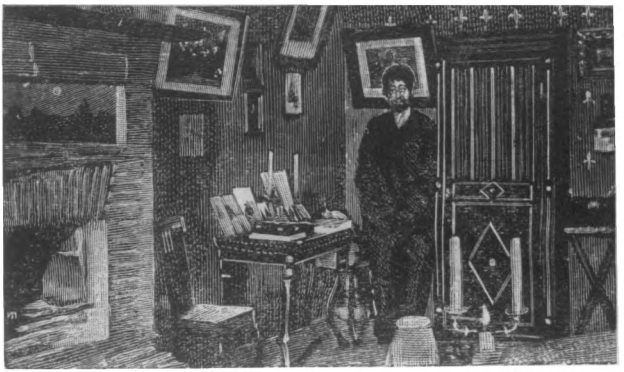
«Прекрасная Лика» неожиданно уехала в Париж, за ней тотчас же потянулся туда и Потапенко, и на душе у нас осталось такое чувство, точно мы похоронили кого-то навеки и не увидим уже больше никогда.

Благодаря постоянному многолюдству, в доме уже не стало хватать места. Антон Павлович и раньше помышлял о постройке хутора у выкопанного им пруда или подальше, в другом участке, но это не осуществилось. Вместо хутора начались постройки в самой усадьбе. Одни хозяйственные постройки были сломаны и перенесены на новое место, другие — возведены вновь. Появились новый скотный двор, при нем изба с колодцем и плетнем на украинский манер, баня, амбар и, наконец, мечта Антона Павловича — флигель. Это был маленький домик в две крошечных комнатки, в одной из которых с трудом вмещалась

кровать, а в другой письменный стол. Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него сам и там, впоследствии, написал свою «Чайку». Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблочный сад. Весной, когда цвели вишни и яблоки, в этом флигельке было приятно пожить, а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи в рост человека.

Переселение Антона Павловича из Москвы в Мелихово на постоянное жительство и весть о том, что вот-де там-то поселился писатель Чехов, повели неминуемо к официальным знакомствам. Кончилось дело тем, что Антона Павловича (и меня) выбрали в члены санитарного совета. Таким образом началась земская деятельность писателя. Он стал принимать непосредственное участие в земских делах, строил школы, причем ему помогала в этом наша сестра Мария Павловна, проводил шоссе, заведывал холерными участками, и ни одно, даже самое маленькое общественное дело не проходило мимо его внимания. В этом отношении он целиком походил на нашего дядю Митрофана Егоровича. То-и-дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот сотский, или, как он сам называл себя, «цоцкай», служил при Бавыкинском волостном правлении, к которому в административном отношении принадлежало Мелихово, и он-то и выведен Чеховым в рассказе «По делам службы» и в «Трех сестрах». Это был необыкновенный человек; он «ходил» уже

тридцать лет, все им помыкали: и полиция, и юстиция, и акцизный, и земская управа, и проч. и проч., и он выполнял их требования даже самого домашнего свойства безропотно, с сознанием, если можно так выразиться, стихийности своей службы.



X

Голодный 1892 год. Общественная работа А. П. по помощи голодающим. — Чехов в Нижнем-Новгороде. — Заведывание холерным участком. — Визиты А. П. за помощью к «высокопоставленным». — Жюль Легра в гостях у Чехова. — Осознание А. П. серьезности своей болезни. — На ярославских торжествах. — Торжественный спектакль «Ревизора». — Чествование Л. Н. Трефолева. — Первое представление «Чайки» в Петербурге. — Пожертвование библиотеки А. П. Таганрогу. — Архитектор-художник Шехтель. — Участие Чехова в народной переписи. — Мелиховские впечатления в творчестве А. П. — Проект организации Народного дома. — Припадок в «Эрмитаже». — Чехов в Ницце и Париже. — Смерть отца. — Антон Павлович в Ялте. — Постройка дачи. — Избрание А. П. в почетные академики. — Приезд в Крым Художественного театра. — Женитьба Антона Павловича. — Смерть и похороны.

Весной 1892 года стали появляться в обществе и в печати опасения, что благодаря неурожайному предшествовавшему году все хлебные

запасы страны истощились и что новый сельскохозяйственный год ничего хорошего впереди не обещает; попросту — урожая не будет.

Опасения эти скоро подтвердились. После сплошной засухи в течение весны и лета надвинулись тяжелые осень и зима, в которые многие местности были объявлены голодающими или, как тогда говорилось для успокоения общественного мнения, «пострадавшими от неурожая». В столицах этот голод вовсе не чувствовался, в городах французская булка попрежнему стоила пять копеек и ни в чем недостатка не ощущалось. Голод был «где-то там». Когда, по инициативе пастора петербургской голландской церкви Гиллота, стал присылаться хлеб из-за границы для раздачи голодавшим, то привезших его людей чествовали шампанским, возили по ресторанам, говорили речи и обкармливали до отвала. Рядом со слабой правительственной помощью населению и, как бы в пику ей, возникла широкая деятельность отдельных обществ и частных лиц.

Не мог оставаться равнодушным к этому движению и Антон Павлович: он стал собирать пожертвования и принимать участие в разных литературных сборниках, издававшихся для помощи голодающим. Особенно пострадавшими от неурожая были губернии Нижегородская и Воронежская, и вот в первой из них, как я писал уже выше, оказался у Чехова знакомый, когда-то близкий приятель еще по Воскресенску, Е. П. Егоров, служивший теперь там в должности земского начальника, большой идеалист. Чехов списался с ним, организовал подписку по сбору пожертвований и, в суровую зиму, отправился лично в Нижегородскую губернию. Здесь, орга-

низуя помощь населению, он едва не погиб: он сбился с пути во время метели, стал замерзать и уже ожидал своего конца. Ему и Егорову все-таки удалось здесь обеспечить крестьян рабочими лошадьми.

В то время Нижним-Новгородом правил всесильный генерал-губернатор Н. М. Баранов.[1] Это — тот самый Баранов, который в молодости, в Русско-турецкую войну 1877—78 годов, без позволения начальства атаковал турецкий броненосец, пустил его ко дну и за это был судим военным судом по обвинению своего начальника адмирала Рожественского, сдавшего впоследствии всю русскую эскадру японцам под Цусимой. Он же, во время борьбы с холерой, приказал высечь купца Китаева за то, что сей благодушный обыватель говорил своим покупателям, что холеры вовсе нет, а что это так, просто хворают животами. Когда Антон Павлович приехал к этому генерал-губернатору, то застал у него всевозможных лиц, предлагавших свои услуги для помощи голодавшим. Больше всех добивался такой концессии какой-то отставной военный, который не оставлял Баранова в покое ни на минуту, все время бегал за ним следом и умолял:

— Отец-командир! А я-то на что? Пошлите туда меня! Отец-командир!..

Затем, вместе с Сувориным, Антон Павлович отправился в Воронежскую губернию. Но поездка эта оказалась неудачной. Как и в Нижнем-Новгороде, его возмущали в Воронеже торжественные обеды, с которыми встречали его там как писателя. Ему как-то странно было слышать о голоде и в то же время присутствовать на обе-

дах, когда вся губерния страдала от недорода; между тем, без справок обойтись было невозможно и приходилось поневоле заезжать в губернские города. Тогда провинциальная пресса была в загоне, ограничивалась только «Губернскими ведомостями», которые в большинстве случаев были ничтожны и шли на поводу у редактировавших их вице-губернаторов. К тому же и поездка Антона Павловича совместно с Сувориным связывала его и лишала самостоятельности. Ему хотелось кипучей личной деятельности, как он рассказывал мне потом, которая и получила затем применение в его борьбе с надвигавшейся холерой.

А холера была уже у ворот. Она охватила весь юг России и с каждым днем все ближе и ближе подходила к Московской губернии. Захват ее становился все шире и шире, так как она находила для себя удобную почву среди населения, уже обессиленного голодом за осень и зиму. Необходимо было принимать спешные меры. Закипела работа в Серпуховском уезде. Были приглашены врачи и студенты, но участки были велики, и несмотря на добрые пожелания, в случае появления холеры, все равно земство осталось бы без рук. Тогда Антону Павловичу, как члену санитарного совета и как врачу, было предложено принять на себя заведывание холерным участком. Он тотчас же согласился, безвозмездно.

На его долю выпала тяжелая работа: средствами земство не обладало; кроме одной парусиновой палатки, во всем участке Антона Павловича не было ни одного, даже походного барака, и ему приходилось ездить по местным фабрикан-

там, унижаться перед ними и убеждать их со своей стороны принимать посильные меры к борьбе с холерой. О том, как его иногда встречали в таких случаях даже высокопоставленные люди, от которых, казалось, можно было бы ожидать полного содействия, свидетельствуют его письма к Суворину, [2] в которых он описывает ему свои визиты к графине Орловой-Давыдовой и к архимандриту знаменитой, владевшей миллионами, Давыдовой пустыни. Но были и такие люди, которые охотно шли навстречу хлопотам Антона Павловича и сами предлагали ему помещения под бараки и оборудовали их. К таким лицам принадлежали местные фабриканты из крестьян, братья С. и А. Толоконниковы и их дальний родственник перчаточный фабрикант И. Т. Толоконников.

Как бы то ни было, а усилия Антона Павловича все-таки увенчались успехом. Скоро весь участок, в котором было до 25 деревень, покрылся целой сетью необходимых учреждений. Несколько месяцев писатель почти не вылезал из тарантаса. В это время ему приходилось и разъезжать по участку, и принимать больных у себя на дому, и заниматься литературой. Разбитый, усталый возвращался он домой, но держал себя так, точно делает пустяки, отпускал шуточки и попрежнему всех смешил и вел разговоры с Хинкой об ее предполагаемых болезнях. Я тоже был назначен санитарным попечителем большой многолюдной слободы.

Деятельность по борьбе с холерой и знакомство Антона Павловича с земскими деятелями имели своим следствием то, что писатель был избран в земские гласные. Антон Павлович стал

охотно посещать земские собрания и участвовать в рассмотрении многих земских вопросов. Но наибольшее его внимание обращали на себя народное здравие и народное образование. Чувствуя себя совершенно беспомощным в рассмотрении земских смет и ходатайств перед высшими правительственными учреждениями, он живо интересовался тем, какие намечены к постройке новые дороги, какие предположено открыть новые больницы и школы. Вечно ищущий, чем бы помочь бедняку и что бы сделать для крестьянина, Антон Павлович то строит пожарный сарай, то, по просьбе крестьян, сооружает колокольню с зеркальным крестом, который блестит на солнце и при луне так, точно маяк на море, и виден издали за целые тринадцать верст, и т. п.

В Мелихове нас посетил французский ученый и писатель Жюль Легра (Jules Legras).

Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое утро обходил свои собственные места и возвращался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки Хина и Бром. За этим-то занятием и застал его профессор Бордосского университета Жюль Легра, приехавший в Россию и посетивший Чехова в Мелихове. Вот как он описывает в своей книге «Au pays russe» свою первую встречу с Антоном Павловичем: «Он выходит ко мне навстречу своей медленной походкой в сопровождении двух церемонных смешных такс. Ему с небольшим тридцать лет; он высокого роста, стройный, с большим лбом и длинными волосами, которые он отбрасывает машинальным движением руки назад... В обращении он несколько холоден, но без принужден-

ности: очевидно, он хочет догадаться, с кем имеет дело, и чувствует, что и его в это время тоже изучают. Вскоре однако первое напряжение проходит: мы заговариваем о том, что французы мало знают русских, а русские — французов, и разговор завязывается горячий.

— А не собирать ли нам грибы? — вдруг предлагает он.

Мы направляемся в четырехугольник из берез. Нагнувшись над землей, очень занятые собиранием рыжиков (les petits rouges), мы продолжаем беседовать на самые серьезные темы».

Помню я этого Легра. Он бывал у нас в Мелихове не раз. Блондин с ярко выраженным французским профилем, он приходил к нам в русской красной рубахе, с удовольствием пил квас и с еще большим удовольствием охотился в наших лесах. Он чувствовал себя великолепно. Никто ему не запрещал стрелять, нигде его не могли привлечь к ответственности за браконьерство,[3] как сделали бы это во Франции, и он вкушал у нас редкое для француза счастье свободы. А когда мы возвращались обратно, он усаживался за ужин, выпивал рюмку водки, причем раньше закусывал, а выпивал потом, и с аппетитом ел.

— Кушайте, Юлий Антонович, — обращался к нему Антон Павлович. — Это chien rôti (жареная собака).[4]

Позднее этот Жюль Легра ездил на обследование Обь-Енисейского канала, написал о нем доклад и быстро выучился хорошо говорить по-русски. Когда он уезжал, я послал с ним поклон жившей тогда в Париже «прекрасной Лике», и он мне ответил, что посетил эту «красивую девушку» и исполнил мое поручение.

В 1896 году Антон Павлович ездил в Ясную поляну, чтобы познакомиться со Львом Николаевичем Толстым. Уже давно до него доходили слухи, что Толстой хочет этого знакомства, и приезжали к нему общие друзья, чтобы затянуть его к Толстому, но он всегда отказывался, так как не хотел иметь провожатых или, как он называл их, «посредников», и отправился в Ясную поляну единолично. Вернувшись оттуда, он опять с увлечением принялся за деревья и цветы. Теперь он уже значительно изменился: нам сразу стало бросаться в глаза, как он осунулся, постарел и пожелтел. Было заметно, что в нем происходила в это время какая-то тайная внутренняя работа, и я помню, как, не видавшись с ним около месяца, я резко почувствовал эту перемену. Он кашлял, уже не оживлялся так, как прежде, когда я рассказывал ему о своих впечатлениях в глубокой провинции, которые он обыкновенно так охотно выслушивал. Было ясно, что теперь уже он и сам сознавал серьезность своей болезни, но попрежнему никому не жаловался, старался ее скрыть даже от врачей и, кажется, обмануть и себя самого. Между прочим, сюжет для его рассказа «Супруга» привез ему из Ярославля я, где один знакомый посвятил меня в тайну своей жизни, а некоторые детали в рассказе «Убийство» я привез ему из далекого Углича.

Говоря об Ярославле, я хочу попутно рассказать, что тут мне удалось присутствовать на двух редких событиях, очень интересовавших Антона Павловича: на полуторастолетнем юбилее русского театра и на пятидесятилетнем юбилее поэта Л. Н. Трефолева. Как известно, Яро-

славль — колыбель русского театра. На торжество[5] Ярославского театра — праотца всех русских театров — съехалось из столиц много представителей печати, с которыми мне удалось возобновить знакомство, и, что главнее всего, приехала труппа Александринского театра с Савиной и Варламовым во главе. Несравненные артисты выступили в парадном спектакле в «Ревизоре», в котором приняли участие В. Н. Давыдов, М. Г. Савина, К. А. Варламов, и я не помню, чтобы когда-нибудь я видел лучшее исполнение. Артисты были вдохновлены не только самой пьесой, которая им всегда так удавалась, и не только тем, что их слушала такая избранная, съехавшаяся на торжество со всех концов России публика, но, как они мне говорили после спектакля, еще и тем, что на их долю выпала высокая честь выступать в первом русском театре и именно в такой великий для каждого сценического деятеля день.

Юбилей Л. Н. Трефолева[6] праздновался в том же театре. Ярославский поэт Трефолев был скромным, незаметным человеком, который для хлеба насущного служил в местном Демидовском лицее делопроизводителем и, кроме того, писал стихи, много переводя польского поэта Сырокомлю; но самая его популярная вещь — это «Камаринский мужик», сделавшийся народной песнью («Как по улице Варваринской шел Касьян, мужик Камаринский» и т. д.). Кому-то из местных деятелей пришла в голову мысль почтить юбилей Трефолева. Скоро нашлись сторонники этой мысли, был заарендован на один вечер театр, на его сцене развернули громадный стол под зеленым сукном, за который уселись

местные представители печати и предержащие власти, послали за ничего не подозревавшим Л. Н. Трефолевым, привезли его и усадили на самом видном месте.

Старенький, лысенький, похожий на общипанную ворону, юбиляр чувствовал себя странно и не знал, что ему делать и куда девать руки. Как я узнал потом, ему неизвестна была даже программа вечера, ему нечем было отвечать на адреса и приветствия, так как он не успел заготовить и двух слов. А тут то-и-дело раздавалось:

— Леонид Николаевич! Ваша полувековая плодотворная и многополезная деятельность... и т. д.

Музыка играла туш, певчие пели «славу», а бедный поэт только вставал и, сложив крестообразно руки на груди, низко, в пояс, по-монашески кланялся на все четыре стороны.

Но опять вернусь обратно в Мелихово.

В выстроенном для себя флигельке Антон Павлович написал свою пьесу «Чайка». Он поставил ее на сцене петербургского Александринского театра, поехал туда сам и с горечью писал оттуда сестре, что все кругом него злы, мелочны, фальшивы, что спектакль по всем видимостям пройдет хмуро и что настроение у него неважное. В день первого представления «Чайки» к нему поехала в Питер сестра, и, как она говорила мне потом, он встретил ее на вокзале угрюмый, мрачный и на ее вопрос, в чем дело, ответил, что актеры пьесы не поняли, ролей вовсе не знают, автора не слушают...

Ставилась «Чайка» в бенефис комической актрисы Левкеевой, и публика ожидала и от пьесы комического. Как передавала мне сестра дома, с

первых же сцен в театре произошел скандал. Шумели, кричали, шикали. Как и тогда, на первом представлении в Москве «Иванова», в Александринском театре произошла целая неразбериха, все превратилось в один сплошной, бесформенный хаос. Брат Антон куда-то исчез из театра. Его везде искали по телефону, но он не находился. В час ночи к Суворинам приехала сестра Мария Павловна, еле держась на ногах от пережитых волнений и беспокойства, осведомляясь, где Антон, но и там ей не могли ничего ответить. Брат Антон написал мне из Петербурга открытку: «Пьеса шлепнулась и провалилась» и уехал тотчас же обратно в Мелихово, не простившись в Питере ни с кем.[7] Так сестра и не видала его после спектакля.

Антон Павлович питал любовь к книгам. Кропотливо, изо дня в день он собирал всевозможные книги, привозил с собою целые ящики из столицы, и в Мелихове у него составилась большая библиотека. В 1896 году он пожертвовал ее родному городу Таганрогу для общественной библиотеки. Между прочим, туда ушли все те книги, которые он получал от авторов с их надписями. Затем через него же Таганрогская библиотека стала пополняться книгами все более и более. Она вылилась теперь в прекрасное культурное учреждение и помещается в особом нарочитом здании, сооруженном по проекту академика Ф. О. Шехтеля и посвященном имени покойного писателя.

Мы были знакомы с Ф. О. Шехтелем[8] по крайней мере лет 35. Сын повара из Саратова, он приехал в Москву в 1875 году, поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, где он

и сошелся близко с моим братом Николаем. Их дружба продолжалась до самой смерти художника. Еще будучи совсем молоденьким учеником, посещавшим архитектурные классы, Шехтель часто приходил к нам в 1877 году, когда мы были особенно бедны, и стоило только нашей матери пожаловаться, что у нее нет дров, как он и его товарищ Хелиус уже приносили ей подмышками по паре здоровенных поленьев, украденных ими где-то из чужого штабеля по пути. Очень изобретательный и одаренный от природы прекрасным, общительным характером, Шехтель скоро обогнал своих сверстников, и уже в 1883 году на большом народном гулянье на Ходынском поле в Москве, по случаю коронации Александра III, по его рисункам была выполнена грандиозная процессия «Весна — красна», и с тех пор его популярность стала возрастать с каждым днем. В антрепризе известного Лентовского в его саду «Эрмитаж» и в театре на Театральной площади Шехтель ставил головокружительные феерии, которых до него не знал еще ни один театр. Достаточно указать на «Путешествие на луну» и на «Курочку — золотые яички», где Шехтель удивлял публику всевозможными сценическими трюками. Ему принадлежит масса построек в Москве и в провинции. Между прочим, он принимал деятельное участие в постройке Верхних торговых рядов в Москве и, наконец, ему принадлежит здание Московского художественного театра, за постройку которого он был удостоен звания академика архитектуры. После смерти брата Николая Шехтель перенес свою дружбу на Антона Павловича и всегда считал его своим лучшим другом.

В 1896 году Антон Павлович принял деятельное участие в народной переписи. Он по опыту знал, насколько это дело сближает человека с народом. Ему принадлежала перепись всего населения острова Сахалина, произведенная им по своему почину и собственными средствами еще в 1890 году. Теперь он участвовал в переписи вновь. Он изучил мужицкую жизнь во всех проявлениях, он близко сошелся со всеми своими соседями-крестьянами, которым он и до этого всегда готов был дать добрый совет и как врач и как человек, и эти семь лет «мелиховского сидения» не прошли для него даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, особый колорит. Это влияние Мелихова признавал он и сам. Достаточно вспомнить об его «Мужиках» и «В овраге», где на каждой странице сквозят мелиховские картины и персонажи. Тогда же его захватил целиком проект устройства в Москве Народного дома. В то время о народных домах в России не было еще помина. Деревенские люди проводили свое время в питейных домах, в полной власти у кабатчиков. Народный дом по мысли Антона Павловича должен был строиться на широких началах: библиотеки, читальни, лекции, музеи, театр. Предполагалось выполнить все это на акционерных началах с капиталом в полмиллиона рублей. Ф. О. Шехтель составил проект. Но провести эту затею в жизнь Антону Павловичу не удалось — «по независящим от него причинам».

В марте 1897 года брат Антон опасно заболел. Ничего не предчувствуя и не подозревая, он отправился из Мелихова в Москву, где его

ожидал Суворин. Едва только они сели в «Эрмитаже» за обед, как у Антона Павловича хлынула из легких кровь. Несмотря на принятые обычные меры, истечение крови не прекращалось.

О том, что случилось с Антоном Павловичем во время обеда в «Эрмитаже» и происходило потом все последующие дни, мы, все Чеховы, узнали далеко не тотчас. Но даже после выхода в свет суворинского «Дневника» [9] для нас явилось полной неожиданностью то, что после случившегося припадка Антон Павлович целые двое суток пролежал не у себя, а в номере у Суворина в гостинице «Славянский базар», где, без сомнения, пользовался чисто-отеческим уходом.

После этого припадка дело представлялось уже ясным: у Антона Павловича была официально констатирована бугорчатка легких, и необходимо было теперь от нее спасаться во что бы то ни стало, и, несмотря ни на что, бежать от гнилой северной весны.

Выйдя из клиники, Чехов возвратился в Мелихово. Затем он поехал сперва в Биарриц, но там его встретила дурная погода, которая так все время и продолжалась, и он не почувствовал себя удовлетворенным. Вскоре он переехал в Ниццу. Здесь он надолго и прочно поселился в «Pension russe» в улице Gounod. Жизнь его здесь повидимому, удовлетворяла. Ему нравились тепло, культурность, «ложе как у Клеопатры» в его комнате и общение с такими людьми, как профессор М. М. Ковалевский, В. М. Соболевский, В. И. Немирович-Данченко и художник В. И. Якоби. Поиезжали туда и И. Н. Потапенко и А. И. Сумбатов-Южин, с которыми Антон

Павлович наезжал иногда в Монте-Карло и поигрывал в рулетку.

Из Ниццы Антон Павлович засбирался в Африку, но профессор М. М. Ковалевский, с которым он хотел поехать туда, заболел, и от путешествия пришлось отказаться. Подумывал Антон и о поездке на о. Корсику, но и это ему не удалось. А затем, после перенесенного им жестокого периостита с полной тифозной кривой, им овладело разочарование и явилось убеждение, что проживание в Ницце вообще «безнравственно». Вынужденное безделье утомило его, ему недоставало снега и русской деревни и стало тянуть обратно в Россию.

Март 1898 года Чехов провел в Париже, где познакомился с знаменитым скульптором М. А. Антокольским. Благодаря этому знакомству город Таганрог получил для памятника фигуру Петра I работы этого скульптора и для тамошнего Чеховского музея ценную группу работы его же «Последний вздох». В мае Антон Павлович вернулся наконец в Мелихово. С его приездом здесь все ожило. Опять стали приезжать гости, но он уже не шутил, как прежде, был задумчив и, вероятно, благодаря своей болезни стал мало разговаривать. Как и прежде, он ухаживал за розами, обрезал кусты. В это время сестра затеяла постройку мелиховской школы, и он очень был этим заинтересован, но... прошли счастливые дни Аранжуэца! «Цветы повторяются каждую весну, а радости нет» (из «Иванова»).

В Мелихове Чехов прожил до сентября. Начались спозаранку дожди, запахло осенью, и 14 сентября писатель отбыл в Ялту. Ему

предстояла альтернатива: или опять Ницца, или Ялта, но ехать снова за границу ему не хотелось, и он предпочел Ялту, рассчитывая, что, быть может, он зимою улучит время и съездит ненадолго в Москву, где должна была итти его «Чайка» в Художественном театре. Его выбор оказался удачным. Осень и зима в Ялте были превосходны, и он чувствовал себя там отлично. Но в октябре нашу семью постигло несчастье. Наш отец приподнял в Мелихове с полу тяжелый ящик с книгами, и у него произошло неправимое ущемление грыжи. Пока по отвратительной, грязной дороге его довезли до станции (13 верст), пока три часа везли в поезде в Москву и пока поместили в клинику, кишка у него омертвела, и явилась необходимость вскрывать брюшную полость. Отец не выдержал операции и умер. Мы похоронили его в Новодевичьем монастыре, и я, мать и сестра с грустью возвратились в Мелихово. Я прошел по пустынным комнатам. Брата Антона нет — он в Ялте; отца нет — он в могиле; «прекрасной Лики» тоже нет — она в Париже. Даже нет нашего вечного друга А. И. Иваненко — он навсегда уехал к себе на родину. Опустело наше Мелихово! Точно один отец занимал весь наш дом, — так почувствовалось в Мелихове его отсутствие.

Затем вскоре Антон Павлович уведомил сестру, что он купил в Ялте участок и будет строиться, чтобы иметь место, где зимовать. Участок этот был приобретен далеко от Ялты, бок-о-бок с татарским кладбищем, весь заросший корявым, выродившимся виноградником. На Марию Павловну, когда брат Антон повез ее туда, чтобы показать ей свою покупку, уча-

сток произвел угнетающее впечатление. Как мне говорил живший тогда в Ялте бывший певец оперы Усатов, служивший там по городским выборам, этот участок непрактичному Антону Павловичу просто «всучили». Тогда он не был включен ни в водопроводную сеть, ни в канализацию, и первые три года жизни на нем пришлось довольствоваться дождевой водой, а молодой сад поливали помоями из-под умывания.

Началась постройка. Предполагалось истратить тысяч около десяти, большую часть которых решили взять из кредитного учреждения под залог самой постройки, но, пока дом строился, появились деньги из других источников, и на заглохшем пустыре в Аутке по проекту Л. Н. Шаповалова была выстроена прекрасная дача, в которой каждый камень, каждое деревцо говорят о созидательном таланте Антона Павловича и его сестры. Писатель проводил на постройке целые дни. Свозили камень и известку, турки и татары копали землю, а сам Чехов с педантизмом хирурга сажал деревья и с отеческой любовью следил за каждым новым побегом.

Дом еще не был готов, а зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровая. Холод, снег, морские бури и полное отсутствие близких по духу людей утомили писателя. Он стал тосковать. По словам сестры, его неудержимо потянуло на север, и ему стало казаться, что если бы он переехал на зиму в Россию, в Москву, где с таким успехом шли в Художественном театре его пьесы и где все для него было так полно интереса, то для его здоровья это было бы не хуже, чем в Ялте. Но, против воли, пришлось

примириться с жизнью в Аутке. А эта жизнь уже и со своей стороны стала предъявлять к нему свои права: как местный житель он был избран в члены попечительного совета женской гимназии, и при этом еще приходилось выносить и много душевных волнений из-за чахоточных больных, которые со всех концов России стали обращаться к нему с просьбами устроить их в Ялте. А те, которые приезжали сами по себе, были так бедны, что кончали в Ялте свою жизнь в невозможных условиях и в тоске по родине. Приходилось подумать и о них. Антон Павлович хлопотал за всех, печатал воззвания в газетах, собирал деньги и посильно облегчал их положение. Между прочим, он тогда пожертвовал 500 рублей на постройку школы в Мухолатке.

Весною его неудержимо потянуло на север, и 12 апреля он прибыл в Москву, а затем в мае — в Мелихово. В Москве специально для него Художественный театр ставил «Чайку», — он, как говорится, завертелся и сам не знал, что с собою делать.

Тем не менее, 29 августа Антон Павлович все-таки окончательно переселился наконец в свой собственный дом в Ялте. После этого было продано Мелихово, и мать и сестра отправились к нему на постоянное жительство в Крым. Так в жизни Антона Павловича совершился новый переворот — уже последний в его жизни, лишивший его любимого севера навсегда.

17 января 1900 года, как раз в самый день именин писателя, его выбрали в почетные академики Пушкинского отделения Академии Наук. Все домашние обрадовались. Я помню, как наша

старая-престарая кухарка Марьюшка, доживавшая свой век на покое у Антона Павловича в Ялте, когда я приехал туда, вышла из флигеля и многозначительно мне сказала:

— Теперь наш батюшка Антон Павлович уже генерал.

И действительно, с избранием в почетные академики Антона Павловича, кто в шутку, а кто и всерьез, стали величать «вашим превосходительством». Даже приходившая к нему очень важная персона — швейцар Ливадийского дворца — раз сто под ряд назвал его «превосходительством».[10]

Весной приехал в Крым Художественный театр. Он остановился для нескольких спектаклей в Севастополе. Станиславский и артисты ожидали приезда туда Антона Павловича, но завернула такая ужасная погода, что они напрасно его прождали. Только на пасху, когда потеплело, он туда приехал. Специально для него там давали «Дядю Ваню». Из Севастополя театр переехал в Ялту, и — странное дело! — точно по щучьему веленью, сюда же собрались и писатели: Чириков, Бунин, Елпатьевский, Куприн и Максим Горький. В доме на Аутке сразу все ожило. Каждый день там собиралась вся труппа, приходили писатели и для наших матери и сестры опять настали мелиховские времена: они занялись приемом своих гостей. Беленькая, ласковая, общительная, мать Евгения Яковлевна восседала во главе стола, угощала и следила за каждым гостем, хорошо ли он ест.

Уехал театр — Антона Павловича стали одолевать посетители. Гости, гости и гости! Приходили люди, с которыми он не имел ровно ничего

общего, сидели подолгу, заводили неинтересные разговоры, часа по два просиживали за стаканом чая, молча и со звоном вертя в нем ложечкой. А он в это время был в самом писательском настроении, должен был скрываться от них, бросать свой письменный стол и запираться в спальной.

«Мне жестоко мешают, — писал он в одном из своих писем, — скверно и подло мешают. Пьеса сидит в голове, уже вылилась, просится на бумагу, но едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое-нибудь рыло» (18 августа 1900 года).

Осень 1900 года Антон Павлович провел в Москве, а в начале декабря опять уехал за границу, но снег и холода погнали его обратно домой, и в первых же числах февраля 1901 года он возвратился к себе в Ялту. В это время я находился далеко на севере и потому не знаю, как он проводил время до весны. По странной игре судьбы я даже за все это время не получал писем ни от него, ни от домашних. Как вдруг в конце мая 1901 года я неожиданно узнал из газет, что он женился.[11] Свадьба состоялась в Москве 25 мая 1901 года. В первое время я даже и не знал, кто была его невеста. Я сказал «неожиданно» потому, что эта неожиданность коснулась не одного только меня, но и моего брата Ивана Павловича, бывшего в то время в Москве и видевшегося с ним в то же утро, перед самым венчанием, за какой-нибудь час до церемонии, и узнавшего об этом только тогда, когда все уже совершилось.

Прямо из-под венца Ольга Леонардовна повезла своего супруга на кумыс в Уфимскую

губернию, и с этой поры я уже совсем потерял брата Антона из виду и больше не видал его никогда.

Прошло три года.

3 июля 1904 года я отправился в Ялту, чтобы навестить своих мать и сестру. Тогда Антон Павлович с женой находились за границей, в Баденвейлере.

Когда пароход приставал в Ялте к молу, то мне кто-то помахал с берега шляпой. Это был мой двоюродный брат Жорж, служивший агентом в Русском обществе пароходства в Ялте и вышедший на мол принять пароход. Он узнал меня издали, приложил рупором ладони ко рту и крикнул мне с берега:

— Антон скончался!

Это ударило меня как обухом по голове. Хотелось заплакать. Вся поездка, вся эта прекрасная с парохода Ялта, эти горы и море сразу же померкли в моих глазах и потеряли цену.

Я отправился в Аутку. Сестра в это время была с братом Иваном Павловичем в Боржоме. Послали ей срочную телеграмму, а от матери все время скрывали. Ничего еще не подозревавшая, она радостно встретила меня, стала угощать, — но кусок не шел мне в рот, и мне было неловко перед ней, что я скрывал от нее такое важное событие и должен был поддерживать комедию, чтобы подготовить ее к удару постепенно.

Затем возвратились в Ялту брат и сестра и тотчас же была получена телеграмма от вдовы о том, что она везет тело покойного через Петербург в Москву. Стали появляться сообщения и в газетах. Не прожив и пяти дней в Ялте, я должен был возвращаться опять на север, чтобы

встретить тело и проводить его до могилы. Собралась и сестра. Перед отъездом открыли наконец матери тайну. Она схватилась руками за голову, опустилась на ступеньки лестницы, где стояла, и громко зарыдала. Не было сил присутствовать при этом тяжком ее горе. Затем, придя понемногу в себя, стала собираться с нами в Москву и она.

Мы отправились на север вчетвером. Ялтинский дом остался сиротою.

Мы приехали в Москву к самым похоронам. Нас встретил на вокзале в Москве В. С. Миролюбов [12] и повез в карете к университету, так как тело уже прибыло из Петербурга и его несли с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь. Если бы наш поезд опоздал, то мы так бы и не попали на похороны. Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускали к телу. Вся московская молодежь, взявшись за руки и составив таким образом колоссальный хоровод в диаметре никак не менее полуверсты, охраняли кортеж от многих тысяч сопровождавших, желавших поближе протиснуться к гробу.

Так мы дошли до самого монастыря под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому

поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал. Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась в кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, валиться памятники, рушиться решетки и затаптываться цветы.

Брата Антона опустили в могилу рядом с отцом. Мы взглянули в нее последний раз, бросили по прощальной горсти земли, она ударилась о крышку гроба — и могила закрылась навсегда.

КОММЕНТАРИИ

К главе I

[1] По данным М. П. Чехова, у его деда, Егора Михайловича Чехова, было три сына: Михаил Егорович (живший в Калуге и ставший родоначальником московских Чеховых), отец автора — Павел Егорович (1824 — 1898) и самый младший — Митрофан Егорович (ум. в 1894 г.), о котором и рассказывает Чехов. Отца деда звали Михаилом Емельяновичем. О других предках в семействе Чеховых, по выражению М. П., «ничего не знали».

[2] Данилевский, Григорий Петрович (1829 — 1890) — писатель, автор ряда исторических романов и повестей, пользовавшихся в свое время большой популярностью и примыкающих к исторической беллетристике типа Загоскина, Салиаса и др. («Мирович», «Сожженная Москва», «Черный год» и др.). «Новые места» — один из романов полуэтнографической трилогии Данилевского, которую он написал в 60-х годах («Беглые в Новороссии», «Беглые воротились», «Новые места»). В ней изображается эксплоатация труда бежавших в южно-русские степи крестьян. Однако социальные и политические симпатии Данилевского на стороне дворянства, представителей которых он поэтизирует, проповедуя в эпоху разложения поместного строя переход к буржуазно-капиталистическому хозяйству.

[3] Чертков, Владимир Григорьевич — ближайший друг и последователь Л. Н. Толстого, один из основателей издательства «Посредник», выпускавшего религиозно-нравственную литературу для народных масс с целью пропаганды толстовского учения о непротивлении злу насилием и других его сторон.

[4] Полиглот (греч.) — владеющий многими языками.

[5] Чехов, Александр Павлович (1855 — 1913) —

старший брат А. П., также начавший свою писательскую деятельность с юмористических произведений (в «Будильнике», «Москве», «Осколках», «Стрекозе», «Русском курьере», «Новостях дня»). С 1886 г. сотрудник «Нового времени», где, кроме очерков и рассказов, поместил статьи по разнообразным общественно-бытовым вопросам: об алкоголизме, о пожарном деле, о быте душевнобольных и т. п. Писал обычно под псевдонимом «А. Седой» (вначале и другими — «Алоэ», «Агафопод», «Агафопод Единицын» и др.). Отдельно изданы его повести и рассказы: «Птицы бездомные» (СПБ. 1895), «Святочные рассказы» (несколько изданий) и ряд публицистических и специальных работ, вплоть до «Исторического очерка пожарного дела в России», а также и «Химического словаря фотографа». С успехом начав литературную деятельность, Александр Чехов не сумел подняться выше уровня среднего беллетриста. О серьезном философском и общественном значении его произведений, как это пишет М. П., говорить не приходится. После окончания Московского университета А. П. жил в Петербурге. У Антона Павловича с братом Александром была большая переписка как по литературным вопросам, так и по устройству личных дел Антона Павловича. Из воспоминаний Александра Павловича о брате известны: «Чехов в греческой школе» («Вестн. Европы» 1907, кн. IV, стр. 545—571). «Чехов-певчий», матер. для биографа («Вестн. Европы» 1907, кн. X, стр. 825—834), «Антон Павлович Чехов — лавочник» («Вестн. Европы» 1908, кн. XI, стр. 192—194), «Как и с кем учился Чехов» («Одесс. новости» 1910, № 8018. «Первый паспорт Антона Павловича Чехова» («Русск. богатство» 1911, кн. III, стр. 195 — 202), «В Мелихове» (Страничка из жизни Антона Павловича Чехова, «Нива» 1911, № 26).

[6] Чехов, Николай Павлович (1859 — 1889) — родной брат А. П., талантливый художник, умерший от чахотки. В 1880 — 1887 гг. Н. П. и А. П. оба работали в юмористических журналах; Н. П. — по преимуществу как карикатурист. Н. П. Чеховым исполнено не мало рисунков на темы Антоши Чехонте. Обложка для сборника рассказов Антона Павловича «Невинные речи» (П. 1887) выполнена Н. П.; им же был сделан эскиз обложки для первой книги рассказов, подготовленной А. П. Чеховым в 1883 г., но не вышедшей в свет («На досуге»).

К главе II

[1] Павловский, Иван Яковлевич (псевдоним И. Яковлев) — уроженец Таганрога. Ренегат революционного движения. После бегства из Сибири жил главным образом в Париже. Литератор, сотрудник «Нового времени», ведший в газете парижские корреспонденции. Из отдельных изданий И. Яковлева в России вышли: «Маленькие люди с большим горем», СПБ. 1889; «Очерки современной Испании», СПБ. 1889; «Туда и обратно (Путевые очерки)», СПБ, 1901; «Парижские очерки и этюды», СПБ. 1904. В журн. «Северный вестн.» (№ 3—5 за 1903 г.) напечатана его повесть «Красная звезда». О Тургеневе, принявшем большое участие в судьбе Павловского, он поместил свои «Воспоминания» в «Русском курьере» (1884). А. П. Чехов вел с ним переписку об организации в Таганроге местного музея. В бытность Чехова в Париже Павловский встречал его на вокзале. У А. П. в Мелихове он был летом 1898 г. (см. письмо Чехова к брату Александру — «Письма», т. V, CLXXXI).

А. Р. Кугель (Homo Novus) в своих «Литературных воспоминаниях» (изд. «Петроград», 1924), указывает, что Павловский порвал с «Новым временем» из-за «дела Дрейфуса». «Когда разыгралось дело Дрейфуса, — пишет Кугель, — и «Новое время» сочло своею, так сказать, священной обязанностью с пеной у рта доказывать виновность Дрейфуса, словно газета состояла на службе у французского генерального штаба — Яковлев, наконец, не выдержал и прекратил сотрудничество. Суворин не мало дивился этому поступку Павловского, как совершенно искренно, по великой, обворожительной беспринципности своей, не понимал причины охлаждения к нему Чехова, произошедшего отчасти также в связи с делом Дрейфуса» (стр. 125).

[2] Депортация — ссылка, изгнание из пределов отечества.

[3] «Чехов в греческой школе», «Вестн. Европы» 1907, кн. IV, стр. 545—571.

[4] Селиванова, Александра Львовна — знакомая Чеховых; была замужем за инженером путей сообщения А. К. Краузе. Письма Чехова к ней опубликованы в «Чеховском сборнике», изд. «О-ва А. П. Чехова и его эпохи», М. 1929; там же приведены «Записки Чехова

на книгах, преподнесенных А. Л. Селивановой», «Стихотворения Чехова из альбома А. Л. Селивановой» и воспоминания автора настоящих мемуаров по поводу записей в ее альбом (стр. 46 — 55).

[5] Шпильгаген, Фридрих (1829 — 1911) — плодовитый немецкий писатель-романист. Произведения его, мало оригинальные по форме, глубоко публицистичны по содержанию. Политические идеалы Шпильгагена вначале были тесно связаны с мелкобуржуазным радикализмом капитализирующейся Германии и революцией 1848 г. (интеллигенты-романтики в «Загадочных натурах» и «Из мрака к свету»). В романе «В шеренге» (1867 г., в русском переводе «Один в поле не воин»), воспользовавшись биографией Лассаля, воспроизвел начало рабочего движения, правда, в искаженном виде. Любимый герой Шпильгагена — тип «духовного аристократа», становящегося во главе общественного движения.

Роман «Молот и наковальня», о котором упоминает М. П. Чехов, проповедует примирение классов. В период побед «прусского оружия» Шпильгаген писал романы в духе национального оптимизма, отражая военные настроения буржуазии. И лишь позднее он вновь переходит к изображению отрицательных сторон правящих классов (романы «Прилив», «Новый фараон» и др.).

[6] Гюго, Виктор (1802 — 1895) — великий французский писатель, глава французской романтической школы. Сын наполеоновского генерала и матери-роялистки. В революционные 1848—1851 гг. был депутатом Учредительного и Законодательного собраний, активным борцом против переворота Луи-Наполеона Бонапарта. Вынужденный бежать из Франции, Гюго до падения империи жил изгнанником. В 1870 г. вернулся на родину и был избран членом Национального собрания. Гюго — писатель с явно выраженными социальными тенденциями. С 1849 г. он — демократ-республиканец, близкий по взглядам к социалистам-утопистам. Сочувствуя идеалам Парижской Коммуны, Гюго настаивал на амнистии ее осужденным героям. Из его произведений наибольшее общественное значение имеют романы из трилогии, в которых он изображает «человечество в борьбе» с суевериями, социальными предрассудками, природой: «Собор Парижской Богоматери» (1831), «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866). Истории Великой французской революции им посвящен роман «93-й год»

(1874); тюрьма и ссылка описаны им в «Последнем дне осужденного». Памфлеты Гюго бичуют Вторую империю. Эпоху Парижской Коммуны он воспевает в сборнике стихов «Ужасный год» (1872). Кроме того, Гюго — автор многих драм («Эрнани», «Рюи Блаз», «Король забавляется» и др.). Лирика поэта собрана им в сборниках «Восточные стихотворения», «Осенние листья», «Внутренние голоса» и «Созерцания». Начав манифестом, направленным против классицизма (драма «Кромвель»), Гюго утвердил романтизм в области французского романа, лирики и театра. Свойственные черты его творчеству: мелодраматизм в драмах, романтические приподнятость и напыщенность в стихах, сложная фабула, историческая напряженность, широкий социальный охват. Из новой литературы о Гюго см. книгу Л. Некора: «Социальный роман Виктора Гюго» (изд. «Academia», 1932).

[7] Суворин, Алексей Сергеевич (1834 — 1912) — известный журналист и издатель реакционной националистической газеты «Новое время», основатель и владелец крупнейшего книжного издательства и сети киосков, основатель и директор Малого театра при СПБ. литер.-артист. кружке. Беллетрист, драматург и фельетонист. Им написаны: повесть «Аленка», романы «Всякие», «В конце века» и др.; пьеса «Татьяна Репина», «Медея» (совместно с В. Бурениным), фельетоны «Недельные очерки и картинки» (под псевд. «Незнакомец» в «Петербургских ведомостях»), «Маленькие письма» (в «Новом времени») и др. Литературную деятельность Суворин начал с демократического направления, но постепенно отходил от него и превратился в вдохновителя националистических кругов и охранителя устоев самодержавного строя.

С Чеховым у Суворина были хорошие дружеские отношения; переписка А. П. с ним наиболее большая и интересная. Чехов ценил в Суворине его литературную чуткость и ум. Отношение Чехова к Суворову резко изменилось в связи с так наз. «делом Дрейфуса» (см. ниже). В газете Суворина А. П. сотрудничал до 1891 г. В 1923 г. был опубликован «Дневник» Суворина, из которого явствует политическое двуличие его. В «Дневнике» много резких суждений о ничтожности правящей клики и самодержавного строя. Об отношениях Чехова и Суворина, постановке пьесы «Татьяна Репина» и о напи-

сании А. П. одноименной пьесы в одном действии автор настоящих мемуаров выпустил книгу: «Антон Чехов. Театр, актеры и Татьяна Репина» (с приложением текста пьесы), П. 1924.

К главе III

[1] Делянов, Иван Давыдович — государств. деятель царской России. В годы реакции 80-х годов министр народного просвещения. В 1884 г. издал университетский устав, заменивший самоуправление университетов системой жестокого бюрократического контроля с целью борьбы с крамолой; он же стеснил прием детей недостаточных классов в среднеучебные заведения, борясь за привилегии правящих классов против «кухаркиных детей». В целях отвлечения учащихся от общественно-политической борьбы Делянов всячески насаждал классическую систему гимназического образования с зубрежкой древних языков.

[2] В «Письмах Чехова» под редакцией М. П. Чеховой было опубликовано 11 писем. К этому количеству надо добавить новые публикации двух писем в книге «А. П. Чехов. Несобранные письма», под. ред. Н. К. Пиксанова, Гиз. 1927, и еще двух в издании «А. П. Чехов. Неизданные письма», с предисловием В. И. Невского и под редакцией Е. Э. Лейтнекера, Гиз, 1930.

[3] Герье, Владимир Иванович — профессор всеобщей истории в Московском университете. В 1872 г. основал в Москве первые высшие женские курсы, носившие его имя. Во главе курсов Герье стоял все время со дня их открытия до самого закрытия по распоряжению администрации. В 1906 г. выступил с резким памфлетом против первой Государственной думы.

[4] Флеровский — литературный псевдоним Василия Васильевича Берви (1829 — 1918). Писатель-народник, подвергавшийся частым преследованиям царского правительства, и чрезвычайно популярный среди революционной молодежи 70-х гг. По своим взглядам Флеровский — утопист-идеалист, боявшийся классовой борьбы и проповедывавший альтруизм. Из произведений Флеровского большим успехом пользовались «Положение рабочего класса в России» (1869) и «Азбука социальных наук» (1871, была уничтожена по распоряжению правительства). О первой работе Флеровского очень

одобрительно отзывался К. Маркс, ценя в ней правдивое изображение жизни трудящихся: «Это труд серьезного наблюдения, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах» (письмо 1870 г.). Мемуары В. Берви-Флеровского в 1929 г. были изданы изд-вом «Молодая гвардия» под названием «Записки революционера-мечтателя», под ред. В. И. Невского и П. Анатольева. Неизданная статья Берви-Флеровского «Литературные либералы» с предисловием Л. Б. Каменева и с комментариями Л. Добровольского опубликована в № 2 «Литературного наследства» (1932).

[5] Полностью стихотворение это помещено в письмах Чехова, т. I, стр. 41 (Письмо Е. И. Юношевой, под названием «Последнее прости» (Е. И. Ю...й) за подписью «Известный, Москва, 1883 г., 2 ноября, полночь»).

В рассказе Чехова «О женщины, женщины!..» (1884) это стихотворение приводится в двух строфах в следующей редакции:

Сквозь дым мечтательной сигары
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой любви удары
С улыбкой пламенной в устах...

Прости меня, мой ангел белоснежный,
Подруга дней моих и идеал мой нежный,
Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь,
Где смерти пасть... О, ужасаюсь!

Кроме того, это же стихотворение, по утверждению М. П. Чехова, которое он высказывает в книге «Антон Чехов. Театр, актеры и Татьяна Репина», было включено Чеховым в водевиль «Бритый секретарь с пистолетом». В этом очень смешном водевиле, — как вспоминает М. П., — «была представлена редакция захудалого журнала и фигурировала на сцене двуспальная кровать. Водевиль этот Чехов в театральную цензуру не посылал, и о судьбе его я, к сожалению, ничего не помню. Из этой пьесы я помню только следующее стихотворение, в котором целые шесть раз под ряд попадается слово «стремглав». Его приносит в редакцию для напечатания армянский князь и производит целый скандал, когда ему в этом отказывают. (Приводится текст стихотворения.) «Последняя строчка несколько тяжела, —

говорит редактору армянский князь, — но главное — это нужно уметь прочесть» (стр. 8 — 9).

[6] Коробов, Николай Иванович — однокурсник А. П. Чехова по медицинскому факультету, близкий человек всей семьи Чеховых, впоследствии врач 1-й моск. городской больницы. В раннем рассказе Антоши Чехонте «Зеленая коса», в котором упоминается «художник Николай Чехов», встречается также «студент-медик Коробов и его жена Екатерина Ивановна», т. е. имена персонажей, которые брал молодой Чехов из окружающей среды. Н. И. Коробову А. П. посвящает два ранних рассказа: «Ненужная победа» и «Цветы запоздалые».

[7] «Стрекоза» — еженедельный художественно-юмористический журнал, издававшийся Германом Корнфельдом с 1876 г. С № 17 (1879 г.) редактором «Стрекозы» был известный фельетонист Ипполит Федорович Василевский (псевд. Буква). О характере и направлении юмористических журналов эпохи 80-х гг. и участия в них А. П. Чехова см.: Л. Мышковская, «Чехов и юмористические журналы 80-х годов», «Моск. рабоч.», 1929; «А. П. Чехов. Несобранные рассказы», «Academia», 1929 (в последнем издании — тексты Чехова).

[8] И. С. Зильберштейн в книге «А. П. Чехов. Несобранные рассказы» (изд. «Academia», 1929) в подписи под репродукцией Н. П. Чехова, названной им почему-то «рисунком», «Гулянье первого мая в Сокольниках», пишет: «Юноша с букетом, несомненно, А. П. Чехов».

[9] «Будильник» — сатирический журнал с карикатурами. Выходил с 1865 г., с перерывом в 1872 г. Первым издателем-редактором Б. был известный художник-карикатурист Н. А. Степанов, ближайший сотрудник и один из основателей «Искры».

[10] «Зритель» — иллюстрированный, литературный, художественный и юмористический журнал. Выходил в 1881 — 1885 гг. В. В. Давыдов был постоянным его издателем-редактором за все годы существования журнала. «Бес», о котором говорит М. П. Чехов, это — альманах под названием «Иллюстрированный бес», первый и единственный выпуск которого вышел в 1880 г.; в предисловии альманаха говорилось о цели его: «подарить русскую публику таким художественно-литературным произведением, какого на русском языке еще не было».

[11] Крашевский, Иосиф-Игнатий (Kraszewski, 1812 — 1887) — польский писатель-романист и публи-

цист, один из плодовитейших писателей мира, написавший более 500 томов. Представитель либеральной шляхты, с половинчатыми политическими взглядами, он был сторонником освобождения крестьян, но с сохранением над ними «просвещенной опеки помещиков». В годы подготовки польского восстания Крашевский стоял за «бескровное» освобождение Польши и затушевывал перед обществом необходимость перехода к классовой борьбе; несмотря на это, как «вредный» писатель и общественный деятель, был выслан за границу. В польской литературе К. сыграл значительную роль как бытописатель-реалист исторического типа. Из произведений его наиболее значительны: «Пан Твардовский», «Остап Бондарчук», «Исторические повести XVIII в.» и др.

[12] Бернар, Сара (1844 — 1923) — знаменитая французская актриса, родилась в еврейской семье. Представительница сильного трагического жанра, С. Бернар обладала исключительной дикцией и блестящей техникой. Выступала по преимуществу в ролях классического репертуара, хотя играла и в пьесах Сарду, Дюма-сына, Э. Ростана и др. В Россию Бернар приезжала в 1881 г. и выступала в обеих столицах и Одессе. Помимо рисунка Н. П. Чехова в «Зрителе» (№ 25 — 26, с подписью: «кресла оркестра Московского Большого театра на представлениях Сары Бернар»), им же помещены в «Зрителе» и другие рисунки, относящиеся к пребыванию в Москве великой мировой артистки (карикатурный рисунок с подписью «Сара Бернар» в № 22 и зарисовка портрета Сары Бернар в № 23 — 24 за 1881 г.).

[13] Аксаков, Иван Сергеевич (1823 — 1886) — писатель-публицист, поэт, общественный деятель, один из ярых вождей позднего славянофильства. Редактор «Московского сборника» в 50-х гг., а позже «Русской беседы» и газет «Парус», «День», «Москва», а в 80-х гг. «Русь». Руководитель Славянского благотворительного комитета, нападавший резко на интеллигенцию за ее отступление от «национального духа». Отражая настроения части дворянско-буржуазных кругов, мечтавших о разделе Турции и захвате Константинополя, Аксаков призывал к объединению славянских народов под владычеством России и поддерживал реакционную политику Александра III.

[14] Шостаковский П. А. — пианист и дирижер, основатель музыкальных классов при Московском фи-

лармоническом обществе и деятельный член его. Концерты Шостаковского в Колонном зале (быв. Московского дворянского собрания) пользовались большим успехом. Созданные им музыкальные классы конкурировали с консерваторией.

[15] Гиляров-Платонов, Никита Петрович (1824 — 1887) — известный в свое время публицист, примыкавший к славянофилам. В 1868 — 1887 гг. издавал в Москве ежедневную газету «Современные известия», в 1883 — 1884 гг. — еженедельный журнал «Радуга». Автобиография Гилярова-Платанова издана им под названием «Из пережитого», М. 1886.

[16] Дмитриев Андрей Михайлович (псевдоним — Барон И. Галкин, ум. в 1886 г.) — беллетрист, драматург и переводчик. Сочинения его: «Новеллы, рассказы и шутки», М. 1873; «В дорогу... от скуки», М. 1876; «Падшая», повесть, 2-е изд., 1874; «Единственная», ком., М. 1881; «Русская Нана», картинки полусветской жизни, роман в 2 ч., СПБ. 1881. Официальным соиздателем «Русского курьера» и редактором «Театральной газеты» Дмитриев не был.

К главе IV

[1] Уткина, Л. Н., была самостоятельной издательницей «Будильника» с № 3 — 1876 г. до № 49 — 1883 г.; А. Д. Курепин официально редактировал журнал с начала 1883 г. только до № 49. Александр Дмитриевич Курепин (1847 — 1891) — журналист, сотрудник «Русских ведомостей», подписывавшийся «А-н». Амфитеатров в своей книге «Славные мертвецы» пишет о нем: «До меня московским фельетонистом «Нового времени» что-то лет пятнадцать был А. Д. Курепин, человек весьма либеральный, почитавший себя «красным», с портретом Герцена над письменным столом, сотрудник «Русских ведомостей», и тоже отлично уживался». Четкой принципиальности в общественных вопросах у Курепина, как и у большинства журналистов юмористических журналов 80-х гг., не было.

Имеется очень интересная зарисовка М. М. Чемоданова-Лилина «Редакционный день «Будильника» (относящаяся к 1885 г.), где воспроизведены все основные сотрудники того журнала (изд-ца Е. Ю. Арнольд, редактор В. Д. Левинский (Вольдемар де Эль), сотруд-

ники: А. П. Чехов (А. Чехонте), П. А. Сергеенко (Эмиль Пуп), А. В. Амфитеатров (Мефистофель из Хамовников), А. Д. Курепин (Моск. Фланер), Е. В. Пассек (Е. Роган), Н. П. Кичеев (Никс) и В. А. Гиляровский (Гиляй). Рисунок помещен в № 12 «Будильника» за 1885 г. В наше время он воспроизведен в сборн. «А. П. Чехов. Несобранные рассказы».

[2] Ермолова, Мария Николаевна (1853—1927) — замечательная трагическая актриса московского Малого театра, народная артистка Республики. Создала ряд тонких художественных образов, по преимуществу в романтической драме и комедии (Орлеанская дева, Мария Стюарт, Офелия, Леди Макбет и др.). Рукопись пьесы, о которой упоминает М. П. Чехов, была найдена в литературном архиве Антона Павловича, поступившем в Центрархив в 1920 г. Она была издана в 1923 г. под названием «А. П. Чехов. Неизданная пьеса» (изд. «Новая Москва»).

[3] Евстигнеев, Мих. Е. — автор многих лубочных книг, «кумир Никольского рынка» в 70—80-х гг. прошлого века, произведения которого печатались в огромных по тому времени тиражах. Помимо ряда толстых романов («Сын нищего», «Лесной бродяга или шайка мошенников», «Ведьма из-за Днепра или разбойник Соловей» и мн. др.), Е. выпускал песенники, анекдоты («Ха! ха! ха! Собрание юмористических анекдотов» и др.) и небольшие произведения с сногсшибательными названиями вроде «Портрет девушки-зверя», «Два туза и пиковая дама» и т. п.

[4] Попудогло, Федор Федосеевич — близкий друг молодого Чехова, беллетрист и драматург, сотрудник «Будильника», «Московского листка» и др. изд. (ум. в 1883 г.). А. П. посвятил ему свой рассказ «Живой товар». О его смерти Чехов писал брату Александру: «Для меня это незаменимая потеря. Федосеич был не талант... Он был старожил литературный и имел прекрасный литературный нюх, а такие люди дороги для нашего брата начинающего. Как тать ночной, тайком хаживал я к нему в Кудрино, и он изливал мне свою душу». Исследователь творчества Чехова и библиограф его библиотеки, С. Балухатый, в своей работе «Библиотека Чехова» (Сб. «Чехов и его среда» под ред. Н. Ф. Бельчикова, «Academia», 1930) полагает, что «случай (смерть Попудогло) помог неожиданно увеличить, коллекцию книг А. П.;

отсюда наличие в библиотеке старых, иногда редких изданий» (стр. 201 назв. сб.). Утверждение М. П. Чехова расходится с высказыванием Балухатого. «Песни» Рыбникова и повести и рассказы К. И. Бабикова «Тишь да гладь» в описи библиотеки А. П., составленной прежде всего по материалам таганрогской библиотеки, не числятся. Что же касается упоминаемой М. П. Чеховым книги из библиотеки Попудогло «Командные слова для совершения главнейших на корабле действий», то о подобного рода книге, давшей тему для рассказа «Свадьба с генералом» (потом водевиль «Свадьба»), упоминает А. Грузинский-Лазарев в своих воспоминаниях. Книга эта была куплена А. П. на Сухаревке и якобы называлась «Толкователь слов разных и терминов иностранных, в российском флоте употребляемых» (имеется, видимо, в виду «Новой словотолкователь, расположенный по алфавиту... собранный Н. Яновским», СПБ, 1803 — 1806). Возможно, однако, что Грузинский-Лазарев неправильно озаглавил книгу о командных словах.

[5] Сергеенко, Петр Алексеевич (род. в 1854 г.) — писатель, беллетрист и публицист, учился в таганрогской гимназии вместе с А. П. Литературная деятельность С. началась в 1879 г. в юмористических изданиях (под псевдонимами «Эмиль Пуп», «Бедный Иорик» и др.). Лучшие произведения — «Сократ» и «Дези». Позднее — сторонник толстовского учения, выпустивший книгу «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой».

[6] Маркс, Адольф Федорович — известный издатель-предприниматель; с 1863 г. выпускал типичный мещанский журнал для семейного чтения «Нива», при котором дал приложения почти всех русских и частично иностранных классиков. На невыгодных для Чехова условиях купил у него монопольное право на напечатание сочинений А. П.

[7] Пальмин, Илиодор Иванович (1841 — 1891) — поэт-юморист, сотрудник «Искры» и др. изданий. По своим общественным воззрениям довольно близко примыкал к традициям шестидесятников, хотя и не гнушался сотрудничеством в бульварном «Русском листке». Из отдельных изданий Пальмина вышли: «Сны на яву», собр. стих., М. 1878; «Цветы и змеи». Сатира, юмор и фантазия. Сб. шаловливых стихов и напевов, СПБ. 1883; «Рад бы в рай да грехи не пускают». Похождение идеалиста. По рис. В. Буша. Из стих. П. и в наше

время популярно «Не плачьте над трупами павших борцов», переложенное на музыку.

[8] Не совсем точно. Сейчас имеется возможность восстановить полный текст этого стихотворного послания. В чеховской библиотеке имеется экземпляр «Цветов и змей» Пальмина с надписью автора. По описанию С. Балухатого (стр. 273 — 274), «На чистом листе перед титулом рукою Чехова написано: В конце книги этой имеется автограф покойного Лиодора Пальмина. В конце книги на чистом листе, вклеенном после чистого листа переплетчика, написано:

«Коллега! Милый мой Антоша!
По обещанью шлю «Устав».
Сейчас, немножечко устав
И волосы себе ероша,
Сижу один я в тишине,
Причем Калашникова пиво
Юмористически игриво
В стакане искрится на дне.
Поклон мой брату Николаю.
Ему добра душой желаю
И Лейкину вчера писал,
Чтобы торшон ему прислал.
Писал, что нужно, без сомненья,
Вас в Пушкинский кружок избрать.
Простите шалость беглой рифмы
Как математик логарифмы,
Всегда могу ее искать.
Как мореход на острый риф, мы
— Поэты — лезем все на рифмы.
Ну, до свиданья. В части жду
Вас, купно с братом Николаем.
Затем Вам с музой посылаем
Поклон. Сейчас гулять иду,
И в ящик сдать посланье это.
Не забывайте же поэта.

Искренно преданный Л. Пальмин. 29 дек. 1883 г. 9 час. вечера».

Перед словами «Устав» и «торшон» рукою Чехова поставлены цифры и на обороте чистого листа переплетчика в конце книги его же рукою сделано примечание:

«1) «Устав», вероятно Пушкинского кружка».

[9] Лейкин, Николай Александрович (1841—1906) — редактор журнала «Осколки» (1880—1894), известный юморист, постоянный сотрудник «Петербургской газеты» и др. изданий. Автор многочисленных книг романов, повестей, рассказов, сцен и пьес («Неунывающие россияне», «Апраксинцы», «Шуты гороховые», «Наши за границей» и мн. др.). Лучшим романом его считается «Стукин и Хрустальников. Банковская эпопея». Изображая купечество, приказчичий и мелкоремесленный люд, Лейкин осмеивал лишь комическую внешность этой среды, не возвышаясь до социального анализа. О знакомстве Чехова с Лейкиным имеется рассказ самого Лейкина (см. сб. «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписка», СПБ. 1907, стр. 242—243). Текст слов Пальмина Лейкину о братьях Чеховых, приведенный М. П. Чеховым, не совсем совпадает с лейкинским текстом.

[10] Гиляровский, Владимир Алексеевич (род. в 1885 г.) — беллетрист, поэт и журналист. Жизнь его богата разнообразными приключениями. Он «ходил» в народ, был крючником, бурлаком, рабочим на белильном заводе, табунщиком, добровольцем в турецкую войну, актером и т. п. Первая книга Г. «Трущобные люди» была сожжена цензурой в 1887 г. Объекты его рассказов обычно — люди низов. Воспоминания его «Москва и москвичи», «Мои скитания» (1928), дающие любопытный мемуарный материал, однако, лишены общественной характеристики эпохи.

[11] Лентовский, Мих. Валент. — известный антрепренер. Ему принадлежали известный в Москве сад «Эрмитаж», «Театр М. В. Лентовского», в котором ставили головокружительные феерии с трюками (вроде «Путешествия на луну» и др.) и очень полезный народный театр «Скоморох», познакомивший рабочую и мещанскую бедноту города с пьесами Островского, Потехина и др.

[12] Белоусов, Иван Алексеевич (1863—1929) — поэт, беллетрист и переводчик (гл. обр. «Кобзаря» Шевченко). Оставил воспоминания «Литературная Москва» (Писатели-народники 1880—1925 гг.) изд. Сегодня», М. 1926; «Литературная среда» (Воспоминания 1880—1928 гг.), изд. «Никитинские субботники», М. 1928, и «Уходящая Москва».

[13] Телешов, Николай Дмитриевич (род. в 1867 г.) — беллетрист реалистического направления, примыкавший к группе «знаньевцев». Рассказы его были изданы в двух томах издательством «Знание». Ныне заведует музеем Московского государственного художественного театра.

[14] «Москва» — литературно-художественный журнал, выходил в 1882—1883 гг. Официальным редактором-издателем его был Е. С. Сталинский. «Москву» действительно сменила «Волна» (1884—1886), издателем-редактором которой числился Н. У. Руссиянов.

[15] В сборнике «А. П. Чехов. Несобранные рассказы» под ред. И. С. Зильберштейна и подписи к репродукции рисунка «Он выпил» имеется следующая пометка редактора: «В сидящем студенте, несомненно, изображен А. П. Чехов». В «Москве» до напечатания «Зеленой косы» Чехов поместил «Встречу весны» (Рассуждение); «рецензия» — это, очевидно, заметка А. П. «Фантастический театр Лентовского», помещенная в № 27 «Москвы», т. е. позже «Зеленой косы». М. П. Чехов, несомненно, здесь спутывает статьи.

[16] Липскеров, Абрам Яковлевич — журналист, издатель бульварной газеты «Новости дня», получивший концессию на нее благодаря М. Н. Каткову, у которого он был судебным репортером. «Новости дня» выходила ежедневно с 1883 г. О Липскерове и сотрудниках газеты очень интересные воспоминания имеются в книге А. Р. Кугеля (Homo Novus) «Литературные воспоминания», изд. «Петроград», 1923.

[17] Об этом же более подробно рассказывает А. В Амфитеатров («Славные мертвецы», стр. 230—231).

[18] Иокай, Мавр (1825—1904) — плодовитый венгерский писатель, автор социальных и исторических романов. Сторонник национального освобождения своей страны, активный общественный деятель во время революции 1848 г., позднее — примиренец. В «Романе будущего века» Иокай предрекает русскую революцию и завоевания техники; роман его «Свобода под снегом» рисует восстание декабристов; одним из действующих лиц в нем является Пушкин. Революции 1848 г. он посвятил романы: «Картины сражений», «Дневник беглеца», «Отголоски бури». Из русских переводов Иокая в восьмидесятые годы вышли романы: «Новый помещик», «Двойная смерть», «Черные бриллианты», «Любовь до

эшафота», «Другие времена — другие нравы», «Золотой человек», «Из мести».

[19] Пушкарев, Николай Лукич — поэт и переводчик, с ярко выраженной демократической окраской. Был издателем-редактором художественного и карикатурного журнала «Свет и тени» (1878—1884), журнала общественной жизни, политики и литературы «Мирской толк» (1879 — 1884). «Московское обозрение» выходило в 1876 — 1878 гг. Кроме того, Пушкаревым выпускались избранные романы и повести «Библиотеки Мирского толка» (1880), «Библиотека Мирского толка» (избранные романы и повести, 1881 — 1882) и «Романы и повести «Библиотеки Мирского толка» (1883 — 1884).

[20] Пушкаревский журнал иностранных романов и повестей «Европейская библиотека» выходил в 1881 — 1883 гг.

[21] Кольридж, Самюэль Тейлор (1772 — 1834) — английский поэт, критик и философ. Дорэ, Густав — известный французский художник, гравер (1833 —1883).

[22] Гартман, Мориц (1821 — 1872) — австро-немецкий политический поэт и беллетрист, родом из Чехии, представитель домартовской немецкой политической поэзии.

[23] Гатцук, Алексей Алексеевич (1832 — 1891) — археолог и публицист, украинофил. Издавал в Москве иллюстрированную еженедельную «Газету Гатцука» (1876 — 1890) и популярнейший, первый после отмены синодской монополии «Крестный календарь».

[24] Прудон, Пьер-Жозеф (1809 — 1865) — французский социалист-утопист, один из основоположников анархизма. Автор книги «Что такое собственность?»

[25] Братья Вернеры, Евгений и Михаил, издавали журнал путешествий и приключений на суше и на море «Вокруг света» с 1885 до 1891 г. «Сверчок» выходил в 1886 — 1891 гг. «иллюстрированный» журнал Вернеров «Друг детей», предназначенный для детей среднего возраста, издавался в 1887 — 1888 гг.

К главе V

[1] Голохвостов, Павел Дмитриевич (1839 — 1892) — писатель-славянофил, занимавшийся преимущественно вопросами о земских соборах и народною поэзией. Он разработал по поручению гр. Н. П. Игнатьева,

своего единомышленника, проект созыва земского собора во время коронации Александра III в Москве. Об этом см. переписку его жены, опубликованную в «Русском архиве» за 1931 г. №№ 1 и 2.

[2] Егоров, Евграф Петрович, позднее был земским начальником. Чехов с ним работал в Нижегородской губернии в 1892 г. по оказанию помощи голодающим (см. главу X).

[3] Лист, Франц (1811 — 1886) — замечательный композитор и пианист. Автор и исполнитель сочинений для фортепьяно, сообщил этому инструменту характер и колорит оркестрового звучания; примыкал к новоромантической школе. В начале 30-х гг. Лист отдал дань бунтарским настроениям радикальной буржуазной интеллигенции и увлекался идеями сен-симонизма; в эпоху реакции 50 — 60-х гг. перешел в сторонники католической церкви и принял духовный сан. Два раза давал концерты в России и очень ценил творчество русских композиторов.

[4] Иваненко, Александр Иванович — музыкант живший в доме Чеховых. Под псевдонимом Юс Малый напечатал несколько набросков в «Будильнике». В письме к Лазареву-Грузинскому (от 1892 г., сент.) Чехов сообщает, что Иваненко «с моего благословения написал рассказ».

[5] До «Сказок Мельпомены» А. П. пытался в 1883 г. выпустить в свет другой сборник, но он не вышел из печати, хотя набор его и был произведен. В 1916 г. в архиве М. М. Дюковского найден эскиз обложки «На досуге. Антон Чехонте. С рисунками Н. П. Чехова». Очевидно, это название хотел придать А. П. своему первому сборнику (снимок обложки воспроизведен в сб. «А. П. Чехов. Несобранные рассказы»).

[6] «Отечественные записки» — журнал, издававшийся в Петербурге с 1839 г. и основанный А. Краевским. В 1834 — 1846 гг. в нем группировались литературные силы западников и критическим отделом заведывал Белинский. С 1868 г. во главе журнала — Салтыков-Щедрин,, Некрасов и Елисеев, а позднее и Михайловский. В этот период «О. З.» — главный легальный орган народничества. Журнал, подвергавшийся жестоким преследованиям царской цензуры, был закрыт правительством в 1884 г.

«Вестник Европы» — либеральный журнал, основанный М. М. Стасюлевичем в 1886 г. и существовавший до 1918 г.

«Исторический вестник» — исторический журнал, издававшийся с 1880 по 1917 г. А. С. Сувориным, под ред. С. Н. Шубинского, в реакционном духе «Нового времени». В нем напечатаны многие интересные мемуары.

[7] Ашинов, Николай Иванович — авантюрист, саратовский купеческий сын, выдавал себя за «вольного казака»; задумал экспедицию в Абиссинию и пытался в 1889 г. с монахом Паисием основать военное поселение на африканском берегу Красного моря у французской колонии Обок (Сагалло) из набранных им на юге России охотников. Французский военный корабль разогнал поселенцев и, задержав Ашинова, передал его русским властям. Чрезвычайно характерно, что «Новое время» афишировало затею. В письме к Суворину от 14 февраля 1889 г. Чехов иронически поздравляет сына Суворина с ашиновским скандалом.

[8] В этом же письме к Суворину мы находим и интересные строки о Паисии самого Чехова: «То, что я знаю про о. Паисия, слишком интимно и может быть опубликовано только с разрешения моего дяди и самого Паисия. В истории Паисия играют видную роль его жена, гулящие бабы, изуверство, милостыня, какую Паисий получил от дяди. Нельзя всего этого трогать самовольно». И дальше: «Боюсь, чтобы Паисий опять не сбился с понталыку и не стал говорить, что его новый сан (архимандрит), Абиссиния и затем — все от беса. Как бы он опять не бежал без паспорта куда-нибудь. Это такой человек, что и к раскольникам в Австрию бежать может. У него болезненная совесть, а ум прост и ясен» (П., т. II, стр. 309).

[9] Розанов, Павел Григорьевич — был врачом Тамбовского у., в Подольске и Звенигороде, позднее в течение 25 лет в Павловской и др. больницах Москвы. Им написано свыше 250 медицинских статей. А. П. был у Розанова на свадьбе; в письме к нему от 14 января 1886 г. он вспоминает: «До сих пор еще не пришел в чувство после Татьяны. У вас на свадьбе я налисабонился важно, не щадя живота».

[10] Скрябин, Александр Николаевич (1871 — 1915) — выдающийся русский композитор и пианист, автор «Поэмы экстаза», «Прометея» и др., выразитель предреволюционных теософских настроений буржуазной интеллигенции. Яркий новатор в области музыкальной формы.

[11] В настоящее время в монастыре и прилегающих корпусах б. монастырской гостиницы находится дом отдыха им. Рыкова на 2000 отдыхающих. В соборе и трапезной устроен краевой музей

[12] Киселева, Мария Владимировна (ум. в 1921 г.) — жена А. С. Киселева; пробовала писать, ее рассказы печатались в «Роднике», «Детском отдыхе» и др. В середине 80-х гг. была одним из главных литературных корреспондентов. А. П. Чехов в письмах к ней выступает критиком и ценителем достигнутых ею успехов.

[13] Чайковский, Петр Ильич (1840—1893) — знаменитый русский композитор. По отзыву А. Луначарского, гнетущая тоска, пессимизм, чувство тревоги и одиночества окрашивают большую часть его музыкальных произведений. Эти упадочнические настроения роднят Чайковского с творчеством Левитана, Чехова и др. При огромной распространенности «чеховских настроений» среди интеллигенции того времени музыка Чайковского находила исключительно широкий отклик. Несмотря на упадочность, творчество Чайковского ценно поразительной глубиной, огромным мастерством обработки, музыкально-тоническим совершенством формы.

Чайковский и Чехов очень тяготели друг к другу. Письма А. П. к композитору впервые опубликованы в сб. «А. П. Чехов. Неизданные письма», 1930; ответные письма Чайковского к Чехову хранятся в Моск. музее им. Чехова (теперь Литературном музее). О посещении его Чайковским А. П. пишет в письме к Суворину от 15 октября 1889 г.: «Вчера был у меня П. Чайковский, что мне очень польстило: во первых большой человек, во вторых я ужасно люблю его музыку, особенно Онегина. Хотим писать либретто» («Бэла», о котором и упоминает М. П. Чехов).

[14] Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель, один из первых дворян-литераторов подошел к изображению деревни и тем положил начало так наз. «мужицкой» беллетристике. Несмотря на ряд верных картин темной жизни крепостной деревни, Григорович все же не стоял выше типичной барской психологии — снисходительного сентиментально-либерального отношения к изображаемым явлениям жизни. Восторженно настроенный по отношению к Григоровичу в начальный период своей литературной деятельности, Чехов

позднее уже более спокойно расценивает Григоровича как писателя и человека.

[15] Фраза о Скабичевском и его «пророчестве» над Чеховым, что он умрет под забором, очень стандартна в мемуарной литературе о Чехове. Дело здесь сложнее. Несмотря на грубую форму своей статьи, критик писал в ней, что Чехов «тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что придет ему в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов». Для первого периода творчества Чехова 80-х гг. резкая оценка общественного индиферентизма молодого писателя была в основном справедлива (об этом см. А. Дерман, «Творческий портрет Чехова», 1929).

[16] Маркевич, Болеслав Михайлович (1822 — 1884) — реакционный писатель, автор повестей из великосветской жизни, обличительных романов — пасквилей, полных озлобления против общественного движения 60 — 70-х гг. и в которых под вымышленными именами он выводил многих деятелей своего времени («Четверть века назад», «Перелом», «Бездна» печатались в «Русском вестнике»). Тургенев, вначале друживший с Маркевичем, уклонялся впоследствии сношений с ним, за что тот мстил ему гнусными сплетнями. Маркевич в 1875 г. был уволен с государственной службы (член совета министра народного просвещения) за крупную взятку (об этом см. «Полвека русской жизни». Воспоминания А. И. Дельвига, «Academia», 1930, стр. 544 — 549).

[17] Левитан, Исаак Ильич (1861 — 1900) — живописец-пейзажист, наиболее яркий представитель пейзажа «настроений». Своим психологизмом изображения выражал настроения интеллигенции эпохи 80-х гг., порывавшей с разрешением социальных вопросов и проникавшейся меланхолией и пессимизмом.

[18] В интересных мемуарах Т. Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни» (изд. «Федерация», 1928) есть специальная глава «Софья Петровна и Левитан» (стр. 249 — 259). Хорошо знавшая Кувшинникову и дружившая с ней, Щепкина-Куперник провела «второе лето по приезде в Москву» с С. П. и Левитаном. Они сняли старинное именье у обедневших помещиков, в очень красивой местности на озерах — недалеко от Вышнего Волочка и Мсты». Здесь у Левитана разыгрался, на глазах С. П., роман с женою видного петербургского чиновника, соседа по имению. «Петербургская львица», по выражению

Щепкиной-Куперник, победила «бедную, искреннюю С. П.». Этой же осенью Левитан писал Щепкиной-Куперник: «...Мои личные передряги, которые я переживаю теперь, выбили меня из колеи, и отодвинули все остальное на задний план. Обо всем этом когда-нибудь в Москве переговорим. Живется тревожно... Все на свете кончается... и потому — чорт знает что!» Говоря далее об отношениях С. П. после этой истории к Левитану, Щепкина-Куперник свидетельствует, что «она не дала никакой личной обиде вкрасться в свои воспоминания о нем». Учитывая высказывания Щепкиной-Куперник, вполне можно сделать и обратный рассказу М. П. Чехова, со слов брата, вывод. т. е., что в числе этих героинь была и Кувшинникова, тем более, что описание местности, данное автором этих мемуаров, совпадает с описанием Щепкиной-Куперник. «Воспоминания о Левитане» С. П. Кувшинниковой см. в книге С. Глаголя и И. Грабаря, «И. И. Левитан», изд. Кнебель. Мотив подстреленной птицы встречается и в письме Чехова к Суворину от 8 апреля 1892 г.

К главе VI

[1] Sui generis (лат.) — своего рода, своеобразный.

[2] Ковалевский, Максим Максимович (1851 — 1916) — известный профессор, социолог, историк и юрист. Был знаком с Марксом. В 1901 г. организовал в Париже высшую школу социальных наук, где, на ряду с либерально-буржуазными профессорами, преподавали Ленин и Плеханов. Типичный эклектик, Ковалевский в своих политических воззрениях не шел дальше умеренного либерализма. Придавая большое значение экономике, он не разделял теории исторического материализма. Чехов сблизился с Ковалевским во время своего пребывания в Париже.

[3] Боголепов, Николай Павлович (1874 — 1901) — госуд. деятель, проф. римского права, ректор, попечитель моск. учебн. округа, а с 1898 г. министр народного просвещения. При нем студентов впервые стали сдавать в солдаты за участие в политических волнениях. Убит б. студентом Московского университета П. В. Карповичем.

[4] Муравьев, Николай Валерьянович (род. в 1845 г.) — судебный деятель царского самодержавия.

Был обвинителем в процессе народовольцев 1 марта. Прокурором московской судебной палаты Муравьев был с 1884 г.

[5] Не совсем точно. Чехов снял дачу у Линтваревых еще до поездки брата. В письме к А. Н. Плещееву от 31 марта 1888 г. А. П. пишет: «Я уже нанял себе дачу в усадьбе на реке Псле... третьего дня я послал задаток». О снятии дачи писатель повторяет и в письмах к Г. М. Чехову, Щеглову и др. Природой местности А. П. остался очень доволен, о чем неоднократно сообщал в письмах из Сум.

[6] Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893)— поэт. В 1897 г. был сослан в Оренбург по делу Петрашевского. Участвовал в «Отечественных записках», затем в «Северном вестнике». За два года до смерти получил миллионное наследство, из-за которого началась судебная тяжба с другими родственниками, претендовавшими на миллионы. При некрупном художественном таланте поэзия Плещеева полна веры в прогресс и искренности народнического настроения.

[7] Баранцевич, Казимир Станиславович (1851 — 1927) — беллетрист, происходил из обедневшей шляхтской семьи. В своих произведениях рисовал жизнь мелкого городского люда. Кроме рассказов, написал романы «Раба», «Чужак», «Борцы» и др.

[8] Свободин (Козиенко), Павел Матвеевич (1850— 1892) — артист Александринской сцены в Петербурге и писатель (сотр. «Артиста», «Живописного обозрения», «Русской мысли» и др.). В пьесах Чехова С. играл: Шабельского («Иванов»), Светловидова («Калхас»), Ломова («Предложение»).

[9] Дело Дрейфуса — процесс французского офицера генерального штаба, еврея по происхождению, Альфреда Дрейфуса, несправедливо осужденного в 1894 г. по обвинению в шпионаже. Дело Дрейфуса выявило политический кризис Третьей республики, гнилость военной клики, продажность суда и вызвало ожесточенную борьбу сторонников пересмотра его (Золя, Клемансо, Жорес и др.) с националистами и реакционерами. При пересмотре процесса в 1899 г. Дрейфус был снова осужден, впоследствии помилован.

[10] Газета «С.-Петербургские ведомости» перешла к банкиру Баймакову, который обязывался (за право передачи) в течение 12 лет уплачивать ежегодно по 5000 р.

Маркевичу — тому Маркевичу, о котором пишет в предыдущей главе своих мемуаров М. П. Чехов (Об этом см. «Воспоминания А. И. Дельвига «Полвека русской жизни»).

[11] Кони, Анатолий Федорович (1844—1927) — судебный деятель и писатель, почетный академик. Выдающийся либеральный представитель дореволюционной прокуратуры и суда. Председательствовал в известном процессе Веры Засулич, закончившемся ее оправданием. Автор воспоминаний «На жизненном пути», «Воспоминания о деле Засулич» (печатается в изд. «Academia») и мн. др. В 1924 г. Кони опубликовал свои воспоминания («отрывочные» — как он их назвал) о Чехове («А. П. Чехов. Отрывочные воспоминания», стр. 199—216. Сб. «А. П. Чехов», «Атеней», 1925).

[12] По поводу истории с переделкой «Монте-Кристо» Чехов пишет в письме Суворину от 18 дек. 1893 г.: «Вы как-то спрашивали в письме на счет графа Монте-Кристо Дюма. Он давно сокращон, так сокращон бедняга, что покойный Свободин, увидев, ужаснулся и нарисовал карикатуру. Вам привезти сей роман, или прислать через магазин?»

[13] «Рассказ неизвестного человека» Чехов начал писать еще в 1887—1888 гг., переделал его в 1892 г. (см. письмо к Л. Гуревич (от 22 мая 1893 г.). Чехов не хотел посылать повесть в печать из-за боязни цензурного запрещения. По поводу заглавия повести Чехов раздумывал до последнего момента перед печатью. В ответ на телеграмму В. Лаврова (редактора «Русской мысли») о замене первоначального названия, А. П. в письме от марта 1893 г. писал: «Что же придумаешь? — 1) В Петербурге, 2) Рассказ моего знакомого... 3) В восьмидесятые годы... 4) Без заглавия, 5) Повесть без названия, 6) Рассказ неизвестного человека. — Последнее кажется подходит. Хотите? Если хотите, то ладно».

[14] В письме к брату Александру Чехов пишет: «Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал. Потрачено на нее 2 недели, или, вернее, 10 дней» (октябрь, 1887). О разговоре с Коршем он пишет и М. П. Киселевой: «Два раза был в театре Корша и в оба раза Корш убедительно просил меня написать ему пьесу. Я ответил: с удовольствием» (13 сент., 1887). Что же касается условий, которые будто бы сразу были оговорены Коршем,

то в письмах Чехова имеются несколько иные данные. «Если сойдусь в цене, она (пьеса «Иванов». *М. С.*) будет поставлена у Корша» (письмо Лейкину от 19 окт. 1887 г.). «Поставлю ее, вероятно, у Корша (если последний не будет скуп)» (письмо Ал. П. Чехову, октябрь 1887 г.).

[15] Крылов, Виктор Александрович (псевдоним Виктора Александрова, 1838—1906) — драматург. Не ставя себе никаких задач художественного порядка, прежде всего заботился о создании эффектных ролей для известных артистов; умело переделывал и заимствовал сюжеты. Неразборчивый в средствах, согласился на соавторство в антисемитской пьесе Эфрона «Контрабандисты».

[16] Фемистокл и Мильтиад — два государственных афинских деятеля эпохи греко-персидских войн.

[17] Щеглов, Ив. (псевдоним Ивана Леонтьевича Леонтьева, 1856—1911) — беллетрист и драматург. Автор популярных романов «Гордиев узел» и «Корделия». Его пьесы «В горах Кавказа» и «Господа театралы» выдержали сотни представлений. Ему принадлежит выражение «дачный муж», ставшее обиходным.

[18] Невежин, Петр Михайлович (род. в 1841 г.) — драматург и беллетрист, автор «Второй молодости», «Блажи» и др.

[19] Корш, Федор Адамович (1852—1927) — драматург и антрепренер, владелец драматического театра в Москве с 1882 по 1917 г. (ныне его театр носит название «Московский драматический театр б. Корша»).

К главе VII

[1] Воронцов, Василий Павлович (1847—1917), писавший под псевдонимом В. В. — один из крупнейших представителей народнического направления в русской экономической мысли. Главные произведения В. В.: «Судьбы капитализма в России», «Наши направления», «Очерки теоретической экономики». Взгляды Воронцова подвергались блестящей критике Лениным и Плехановым.

[2] Ефименко, Александра Яковлевна (урожденная Ставровская, род. в 1848 г.) — посвятила себя изучению народного быта и обычного права. Основные труды ее — по истории общины и землевладения в северной и южной России.

[3] Смагины, Александр и Сергей Ивановичи, братья, родственники Линтваревых. Имели в Полтавской губ. усадьбу Бокумовку, куда А. П. ездил в надежде купить себе хутор. А. И. Смагин довольно близко сошелся с Чеховыми и приезжал на Луку, в Москву и Мелихово. В сб. «А. П. Чехов. Несобранные письма» (Гиз, 1927) опубликовано четыре письма Чехова А. И. Смагину.

[4] Шаврова-Юст, Елена Михайловна (род. в 1874 г.) — писательница, с которой Чехов был в частой переписке. В 1899 г. первый ее рассказ «Софка» правил А. П. В 1924 г. написала свои воспоминания о Чехове, еще до сих пор не опубликованные.

[5] История написания А. П. «Лешего» много сложнее. «Леший» был задуман Чеховым еще осенью 1888 г., предполагалось написать его совместно с Суворинным. Весной — на Луке и в Ялте — он почти закончил пьесу, но осенью, по приезде в Москву, «едва успев кончить повесть и измучившись, (я) разбежался и по инерции написал четырехактного Лешего, написал сноза, уничтожил все, написанное весной» (письмо А. С. Суворину, М. 1889, 13 окт.). По собственному выражению, Чехов над пьесой работал «с большим удовольствием, даже с наслаждением». Первоначально пьеса была отдана Свободину для бенефиса в петербургский Александринский театр, однако литературно-театральный комитет ее забраковал. И уже в письме к Суворину (дек., 1889) А. П. пишет, что «продал «Лешего» Абрамовой». Наспех, очевидно, был написан в это время конец пьесы («конца я не успел еще сделать, сделаю когда-нибудь на досуге...» — письмо Суворину от 1 ноября 1889). «Леший» прошел назамеченным и ставился у Корша всего лишь три раза. В письме к А. П. Ленскому (2 ноября 1889) Чехов, предлагая продать «Лешего» в какое-либо частное театральное предприятие («капище» — по его выражению), мечтал получить за него 500 рублей.

[6] Зубов (Н. Н. Попов, 1826 — 1890) — даровитый актер, бывший до сцены предводителем дворянства.

[7] Репортерские отчеты А. П. Чехова «Дело Рыкова и комп.» печатались в «Петербургской газете» с 24 ноября по 10 декабря 1884 г. и состояли из 16 корреспонденций (под псевдонимом Рувер). Полностью «Дело Рыкова» впервые переиздано отдельным изданием под названием «Дело скопинского банка» в изд. «Огонек» в 1926 г., а

затем перепечатано в сб. «А. П. Чехов. Несобранные рассказы» («Academia», 1929).

[8] Мизинова, Лидия Стахиевна («Лика») — близкая знакомая Чеховых. Письма к ней А. П. полны блестящего юмора и необычайных сравнений.

[9] Ленский — псевдоним Александра Павловича Вервициотти (1847 — 1908) — знаменитый артист Малого театра. Выступал в ролях классического репертуара.

[10] Давыдов, Владимир Николаевич (Горелов, 1849 — 1925) — драматический актер, народный артист Республики. Лучшие роли: Подколесин («Женитьба»), Городничий («Ревизор»), Фамусов («Горе от ума»), Расплюев («Свадьба Кречинского»). Между прочим, Чехов пишет в письме к Плещееву (от 22 февраля 1888), что Давыдов читал у него стихотворение поэта «У двери» (стр. 74 «Несобранных писем» Чехова). Мемуары Давыдова вышли в 1931 г. в изд. «Academia» под названием «Рассказ о прошлом». Интересную характеристику Давыдова дает Н. Н. Ходотов в своих воспоминаниях «Близкое-далекое» (изд. «Academia»).

[11] Лубе, Эмиль — президент Французской республики, деятельный сторонник франко-русского союза. В 1901 г. приезжал с французской эскадрой для свидания с Николаем II и закрепления этого союза.

[12] «Фигаро» — реакционная парижская газета, излюбленный орган «великосветских кругов», с момента основания (1854) отличается бешеной ненавистью к рабочему движению и социализму. В настоящее время орган фабриканта Коти — ярого врага СССР.

[13] Кшесинская, М. Ф. — пользовавшаяся большой известностью балерина б. Мариинской труппы. Длительная фаворитка Николая II, а затем князей Андрея Владимировича и Сергея Михайловича Романовых. Результатом такой близости к романовскому дому у нее была роскошная вилла в Стрельне и особняк на Каменноостровском проспекте.

[14] Вяльцева А. Д. — знаменитая исполнительница цыганских романсов.

[15] «Мадам Анго» — героиня оперетты Лекока. «Мадам Адан» — французская публицистка, сторонница франко-русского сближения.

[16] Лесков, Николай Семенович (1831 — 1895) — писатель. Общественные взгляды Лескова сводятся к

проповеди «личного праведничества» в духе поповского христианства и толстовства. Хорошо знал быт провинции, чиновников, мещанства, духовенства. Произведения его богаты фабулой, он прекрасно владеет народным языком, хотя литературное мастерство писателя заметно ослабляется стилистическими ухищрениями. Очернив общественное движение 60-х годов в реакционных романах «Некуда» и «На ножах», Л. позднее в некоторых рассказах развернул темы и большой социальной значимости («Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах» и др.). Упоминаемую М. П. Чеховым книгу Лесков подарил А. П. в 1883 г. В библиотеке Чехова сохранился этот подарок с простой надписью: «Антону Павловичу Чехову Н. Лесков. 12 окт. 83.» (Лесков, Н. С. Сказ о тульском левше и о стальной блохе (цеховая легенда), СПБ. 1882, тип. А. С. Суворина, 79 стр.). В 1883 г. Лесков и был у Чехова в Москве.

[17] «Артист» — театральный, музыкальный, художественный журнал; выходил в 1889 — 1894 гг.

[18] Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна (род. в 1874 г.) — писательница и переводчица (пьесы «Летняя картинка», «Ирэн», «Вечность в мгновеньи» и др., перевод пьесы Ростана «Принцесса Грёза», «Романтики», роман «Счастье», сборники рассказов и стихотворений). Воспоминания Щ.-К. о Чехове см. в ее книге «Дни моей жизни», изд. «Федерация», 1928. Произведения Щепкиной-Куперник характерны наивно-романтической приподнятостью и уходом от действительности в мир сентиментальных грез.

[19] Яворская, Лидия Борисовна, урожденная Гюббенет (по мужу — Барятинская; 1872 — 1921) — известная драматическая актриса. В театре Корша была в 1893 — 1894 гг., с 1895 г. перешла в Петербург в театр Литературно-артистического кружка. В 1900 г. основала собственное предприятие под названием «Новый театр», в б. зале Кононова на Мойке. В классическом и бытовом репертуаре ярких ролей не создала, зато выделилась исполнением в «Мадам Сан-Жен», «Принцессе Грёзе», «Заза», «Даме с камелиями» и в других пьесах, внешне эффектных, но не глубоких по своему литературному выполнению.

[20] Саблин, Михаил Алексеевич (1842 — 1898) — статистик-экономист, один из основных членов товарищества и редакции газеты «Русские ведомости».

[21] Гольцев, Виктор Александрович (1850—1906) — журналист, редактор «Юридического вестника», «Русского курьера» и «Русской мысли», в которой с 1892 г. сотрудничал Чехов. С Гольцевым А. П. имел большую переписку (опубликовано 88 писем). По своим политическим воззрениям Г. был выразителем буржуазного либерализма.

[22] Чупров, Александр Иванович (1842—1908) — профессор, буржуазный экономист, статистик, публицист. Видный общественный деятель либерально-полународнического типа. Руководитель газеты «Русские ведомости». Оказал крупное влияние на русскую земскую статистику. Сочинения Чупрова подвергались резкой критике со стороны В. И. Ленина, вскрывавшего реакционность этого ученого.

[23] Островский, Петр Николаевич — брат драматурга А. Н. Островского. Отмечая серьезность критики своей «Степи» Островским (письмо Плещееву от 6 марта 1888 г.), Чехов позднее, по мере углубления знакомства, меняет мнение о П. Н. и в письмах к тому же Плещееву, полутора годам позже, говорит об «обывательстве» взглядов Островского (Письма, т. II, стр. 396).

[24] Горбунов, Иван Федорович (1851—1895) — приятель Островского, актер-рассказчик и писатель-юморист, талантливый изобразитель русского быта, преимущественно мещанского и купеческого.

[25] Фраза эта была, очевидно, в обиходе у Чеховых. В письме к М. П. Чеховой от июля 1888 г. А. П. пишет, говоря о таврической степи: «... Когда я, едучи через Крым, глядел на нее, то думал: «Ничего я, Саша, не вижу в этом хорошего» (Письма, т. II, стр. 117).

[26] Короленко, Владимир Галактионович (1851—1921) — известный писатель и публицист. Примыкая к правому крылу народничества, в своих произведениях он однако интересуется более психологией отдельных личностей, нежели целыми социальными группами. Любимые его герои — типы правдоискателей и мечтателей. Крупный общественный деятель; в голод 1891 г. принимал участие в организации помощи голодающим; выступал в защиту мултанских вотяков. Короленко неоднократно выступал против антисемитизма и жестоко клеймил в своих статьях правительственный террор и преступления деятелей царской власти. Художественная автобиография Короленко «История моего современника» —

замечательный памятник его эпохи. Избранный в 1900 г. в почетные академики, Короленко отказался от этого звания в виде протеста против неутверждения Горького в звании академика. О Чехове Короленко оставил воспоминания «Памяти Антона Павловича Чехова».

К главе VIII

[1] Позже об этом Галкине-Враском Чехов в письме к Суворину, только что возвратившись с Сахалина, писал: «Как я рад, что все обошлось без Галкина-Враского! Он не написал обо мне ни одной строчки, и я явился на Сахалин совершенным незнакомцем» (9 дек. 1890 г.).

[2] Правильнее — мангусты (Herpestes), род хищных млекопитающих семейства виверр. Водятся в Южной Азии и Северной Африке. Один вид — мелон — встречается на юге Европы. Питаются крысами, мышами и насекомыми. Мангуста индейская легко приручается и полезна истреблением ядовитых змей.

[3] Баронесса Варвара Ивановна Икскуль — либеральная общественная деятельница, особенно по делам высшего женского образования, издавала книги для народа. По приезде с Сахалина Чехов был у нее и дал согласие на издание рассказа «Ванька» (письма к А. С. Суворину от 9 декабря 1890 г. и В. Г. Черткову от 2 мая 1891 г.).

[4] «От прекрасной индианки» — несколько выспренно и наивно. В письме Суворину (9 декабря 1890 г.) о своих цейлонских впечатлениях Чехов пишет так: «Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской... и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь!»

[5] Богимово — имение Евг. Дм. Былим-Колосовского в б. Калужской губ., в 10 км от Алексина. Ранее оно принадлежало Прончищевым, близким родственникам декабриста Е. П. Оболенского, и описано Е. А. Сабанеевой в «Воспоминаниях о былом» (СПБ. 1914). О пребывании Чехова в Богимове и его обитателях, в том числе и Былим-Колосовском, см. очень ценные, недавно изданные, краеведческие издания: 1) Д. И. Малинин,

«А. П. Чехов в Богимове б. Тарусского уезда», Калуга 1931; 2) С. И. Самойлович, «По Ферзиковскому району Калужского округа», Калуга 1930.

[6] Вагнер, Владимир Александрович — зоолог и психолог. Главные работы его — об инстинктах и психической жизни животных. Несомненно, в память богимовских бесед В. сделал следующую надпись на своей книге «L'industrie des araneira», подаренной Чехову: «Шестой орган чувства», которым природа наделяет своих избранников, есть тот легендарный клад, от пользования которым может отказаться всякий, кроме того, который его нашел и который может приносить счастье всем, — кроме его обладателя. — Философ из Богимова».

К главе IX

[1] «Дневник отца Чехова» исследован Юр. Соболевым и напечатан в выдержках, с вступительной статьей автора, в книге Юр. Соболева «Чехов», изд. «Федерация», 1930, и повторен им в сб. «Чехов и его среда», изд. «Academia», 1930 г. Об этом дневнике Павла Егоровича пишет и Т. Л. Щепкина-Куперник в своих мемуарах «Дни моей жизни» (изд. «Федерация», 1928). Приводимых на память М. П. Чеховым выдержек нет в публикации Юр. Соболева. Характерно, что в «Дневнике» есть несколько записей, сделанных рукою писателя.

[2] Потапенко, Игнатий Николаевич (1856 — 1929) — плодовитый писатель, рисующий быт духовенства и городской интеллигенции («На действительной службе», «Генеральская дочка», «Шестеро», «На свой страх» и другие романы и повести, а также пьесы «Чужие», «Жизнь» и др.). Как и для большинства писателей 80 — 90-х гг., для Потапенко характерны умеренный либерализм и культурничество, хотя он и писал о рабочем вопросе. Воспоминания Потапенко о Чехове напечатаны в журнале «Нива» в 1914 г. (№ 26) под названием «Несколько лет с А. П. Чеховым».

[3] В письме к В. А. Гольцеву А. П. пишет из Мелихова по этому же поводу следующие строки о Потапенко: «Потапенко кланяется, он благодушествует и восклицает: наконец-то я попал в страну, где не дают авансов! (писано под его диктовку)» (Письма, т. IV, от 28 декабря 1893 г.).

[4] О происхождении «Черного монаха» другую версию передает Иер. Ясинский в своей книге воспоминаний «Роман моей жизни» (Гиз, 1926). Говоря о совместности пребывания А. П. и своем в гостинице «Лоскутной» (дело относится, несомненно, к 1893 г.), Ясинский пишет: «Вы мне как-то рассказывали о каком-то адвокате, — признался мне Чехов, — который страдал тем, что мушволант (летающие перед глазами мушки. *М. С.*) разрастались по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у вас был не замысел, а факт в запасе, но, видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я положил под этот факт медицинскую теорию. Вообще, меня крайне интересуют всякие уклоны так называемой души» (стр. 268). Рассказ безусловно написан много позднее сообщаемого М. П. Чеховым события, и возможно, что в какой-то мере А. П. использовал при разработке сюжета и сообщение Ясинского о мушволанте адвоката, на основании серьезных медицинских данных. Во всяком случае, по собственному признанию Чехова, «Черного монаха» он «писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия». Самый же образ монаха, вполне мог явиться откликом на страшный сон писателя.

[5] Меньшиков, Михаил Осипович (1859—1919) — писатель-публицист и фельетонист. В восьмидесятых годах сотрудничал в гайдебуровской народнической «Неделе», где — под влиянием учения Льва Толстого — писал статьи по вопросам личной и общественной морали. В начале девятисотых годов, резко изменив позицию, делается фельетонистом «Нового времени», а затем и одним из руководящих сотрудников этой газеты. С этого времени и вплоть до последних своих литературных выступлений Меньшиков — вдохновитель крайней реакции, антисемит, ведет борьбу не только против революционного рабочего движения, но и либеральной оппозиции.

В 1925 г. опубликованы неизданные письма А. П. Чехова к Меньшикову, прокомментированные М. Беляевым (сб. «А. П. Чехов. Затерянные произведения, неизданные письма, новые воспоминания, библиография». «Атеней», 1925). Письма Чехова к Меньшикову доведены до 1901 г., т. е. до перехода М. О. в «Новое время»;

в них он, помимо чисто деловых взаимоотношений, высказывает целый ряд значительных мыслей о литературе и отдельных писателях.

У Чехова в Мелихове Меньшиков бывал, по собственному признанию, два или три раза. Чехов о нем пишет в Дневнике 1896 г.: «С 15 по 18 августа у меня гостил Меньшиков. Меньшиков в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется на замирание сердца. От меня он поехал к Л. Н. Толстому». Характеристика внешности Меньшикова, данная М. П. Чеховым, очень совпадает с оценкой А. П.

[6] Неточно: Меньшиков переходит в «Новое время» в 1901 г. М. П. Чехов тогда служил у Суворина по книжному делу.

[7] Браз, Эммануил Осипович — художник, автор портрета Чехова, находящегося в Третьяковской галлерее. Был командирован П. М. Третьяковым в Мелихово для писания портрета А. П. летом 1897 г.; портрет вышел неудачным. Вторично писал портрет Чехова в Ницце в начале 1898 г. — и тоже неудачно. А. П. в своих письмах сообщал о том, что «это плохой, ужасно плохой портрет». Канонизация бразовского портрета, вызванная поэтизацией Чехова как «нежного певца интеллигенции» со стороны определенных, культурнически настроенных ее мелкобуржуазных слоев, в наше время подвергается вполне основательно переоценке. Бразовский портрет — наиболее искусственный и фальшивый образ Чехова и его иконографии (см., напр., «Вместо предисловия» в книге Юрия Соболева «Чехов», изд. «Федерация», 1930).

[8] Куркин, Петр Иванович — сначала участковый, затем санитарный врач Серпуховского у., а потом врач-статистик Моск. губ. санит. бюро. Автор ряда книг по статистике и общественной медицине. В недавно опубликованных письмах Чехова к Куркину мы действительно имеем подтверждение участия П. И. как консультанта-картографа в постановке «Дяди Вани». 25 мая 1899 г. А. П. шлет ему открытку следующего содержания: «Милый Петр Иванович, Художественный театр ставит моего «Дядю Ваню», в третьем акте понадобится картограмма. Будьте добры, подберите подходящую и дайте на подержание или пообещайте дать подходящую,

когда найдется таковая среди ненужных Вам (см. мои «пьесы», стр. 305)» («А. П. Чехов. Неизданные письма», Гиз, 1930). В журн. «Общественный врач», № 4 за 1911 г., Куркин поместил статью «Антон Павлович Чехов как земский врач».

[9] Витте, Иван Германович, земский врач-хирург Серпуховского городск. медиц. участка, видный общественный деятель, один из организаторов общественной медицины уезда и губернии в 1885 — 1900 гг. Скончался в 1905 г.

К главе X

[1] Баранов, Николай Михайлович (1836 — 1901) — бывший моряк, герой эпизода с «Вестой» в русско-турецкую войну и связанного с ним громадного процесса; позднее — градоначальник петербургский, губернатор виленский, архангельский, наконец нижегородский. Интересные воспоминания о нем оставил В. Г. Короленко («Покушение на генерала Баранова в 1890 году», Собр. соч., т. IX). По отзыву Короленко, «Баранов был человек интересный во многих отношениях, фигура яркая, колоритная, выделяющаяся на тусклом фоне бюрократических бездарностей», но вместе с тем и «парадоксальный», игрок по натуре». Во время голода он вначале борется с общественным движением в защиту голодающих, а затем выступает ярым защитником лучших общественных начинаний. В холерный период — наоборот: вначале развивает необыкновенную деятельность по борьбе с холерой, а позднее принимает систему замалчивания стихийного народного бедствия.

[2] Письма, т. IV, стр. 124 — 128.

[3] Браконьерство — недозволенная охота на чужих землях.

[4] Из русских изданий, где помещены воспоминания Ю. Легра об А. П., следует указать: «О Чехове», М. 1910 (к-во «Современное творчество», статья «У Чехова в Мелихове»).

[5] Театральные торжества в Ярославле «в честь первого народного представления, данного Ф. Г. Волковым», продолжались три дня — 9, 10 и 11 мая; шли «Ревизор», «Горе от ума», «Гроза», «Свадьба Кречинского»; «Ревизор» шел первым спектаклем 9 мая; Давыдов исполнял роль Городничего, Варламов — Осипа, Марию Антоновну — Савина.

[6] Трефолев, Леонид Николаевич (1839—1905)— значительный поэт некрасовской школы, еще мало оцененный и исследованный. Выразитель настроений русской демократической интеллигенции 60 — 80-х гг., с колебаниями от народническо-революционных настроений до либерально-земских. Переводчик Сырокомли, «Песен рабочих» Дюпона и др. Был видным земским деятелем и краеведом. Редактировал «Вестник ярославского земства». С А. П. у Трефолева была переписка по поводу участия в альбоме автографов и рисунков писателей и художников («Чеховский сборник», М. 1929). Характеристика М. П. Чеховым Трефолева и приводимые им данные о юбилее крайне поверхностны и нуждаются в дополнительных сопоставлениях. Избранные стихотворения Трефолева недавно изданы под редакцией А. В. Ефремина (Гихл, 1932).

[7] «Чайка» шла 17 октября 1896 г. Чехов уехал из Петербурга на другой день, а после спектакля в 2 часа ночи пришел к Суворину. Об этом см. «Дневник» Суворина, стр. 125, и «Воспоминания А. И. Сувориной», стр. 193 — 194. («А. П. Чехов. Затерянные произведения», 1925).

[8] Шехтель, Франц Осипович (1859 — 1926) — академик архитектуры, автор целого ряда известных сооружений. В 80-е годы был сотрудником журн. «Сверчок» и «Будильник» (псевд. Ф. Ш. и Финь-Шампань). Чехов посвятил ему отрывок «Два скандала» (журн. «Мирской толк», 1882).

[9] В «Дневнике» Суворина о несчастье в «Эрмитаже» см. стр. 150 — 152.

[10] Как известно, Чехов вышел из состава членов разряда изящной словесности Академии Наук в связи с исключением Максима Горького. Вместе с Короленко он протестовал против признания выборов Горького незаконными и потребовал сложения с себя звания почетного академика.

[11] Чехов был женат на Ольге Леонардовне Книппер, артистке московского Художественного театра.

[12] Миролюбов, Виктор Сергеевич (по сцене Миров)—издатель популярного и дешевого демократического «Журнала для всех», в котором А. П. поместил свои последние рассказы: «Архиерей» и «Невеста». Позднее издавал «Ежемесячный журнал».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамова А. А.— антрепренерша. 177, 180.
Азанчевский Б. М. — композитор. 151.
Аксаков И. С. — публицист. 84.
Аладжалов — художник. 128.
Александр I. 45.
Александр II. 24, 65.
Александр III. 148, 247.
Антокольский М. О.— скульптор. 250.
Архангельский П. А.— врач. 120.
Ашинов — атаман. 121.

Бабакин Ваня. 103.
Баранов Н. М. — генерал-губернатор. 238.
Баранцевич К. С. — писатель. 157.
Бегичев В. П. — директор театров. 130, 133.
Белоусов И. А. — поэт. 100.
Бернар Сара — артистка. 84.
Боборыкин П. Д. — писатель. 85.
Боголепов Н. П — профессор. 148,
Брага — композитор. 225.
Браз О. Э. — художник. 232.
Бренко А. А. — антрепренерша. 171, 172.
Бунин И. А. — писатель. 254.
Буренин В. П.— критик. 160.
Бурлак-Андреев В. Н.— актер. 172.
Былим-Колосовский Е. Д. 207.

Вагнер В. А. — зоолог. 208
Варламов К. А. — артист. 244.
Василий — горшечник. 140.
Василий Иванович — садовник. 136.
Вернеры Е. и М. — издатели. 113.
Витте И. Г. — врач. 232.
Владиславлев М. П. — певец. 131, 132.
Воронцов В. П. («В.В.») — экономист. 176.
Вяльцева А. Д. — певица. 188.

Гавриил Парфентьевич. 39, 51,

Гаврилов Иван — охотник. 132.
Гаврилов И. Е. 63, 69.
Галкин-Враской А. Н. 198.
Гамбурцева Л. В. 123, 125.
Гатцук А. А. — издатель. 107, 108.
Герман — гипнотизер. 108.
Герье В. И. — профессор. 69.
Гиллот — пастор. 237.
Гиляров-Платонов — публицист. 84.
Гиляровский В. А. — репортер-писатель. 90, 92 — 101, 116.
Глама-Мещерская А. Я. — артистка. 173.
Глинка — мичман. 201.
Голохвостов П. Д. — историк. 114.
Голохвостова О. А. — писательница. 114.
Гольцев В. А. — журналист. 192.
Горбунов И. Ф. — писатель. 194.
Горький Максим — писатель. 254.
Градов-Соколов — актер. 173.
Григорович Д. В. — писатель. 135, 137, 184.
Гутан — командир парохода. 204.
Гюго Виктор — писатель. 58, 85.

Давыдов В. В. — издатель. 80, 83.
Давыдов В. Н. — артист. 173, 185, 186, 244.
Даргомыжский А. С. — композитор. 133.
Дарская О. М. — артистка. 179.
Делянов И. Д. — министр. 67, 149.
Дмитриев А. М, — литератор. 85.
Додэ Альфонс. 174.
Долгов Н. В. — пианист. 151.
Дрейфус. 159, 162.
Дюковский М. М. 76, 77, 168.

Евстигнеев Миша — писатель. 88.
Егоров Е. П. 115, 237.
Е. М. Ш. 178.
Елпатьевский С. Я. — писатель. 254.
Ермолова М. Н. — артистка. 85, 188.
Ефименко А. Я. — экономистка. 176.
Ефрем — иеромонах 123.
Ефремова Е. А. 132.

Жан Щеглов (см. Леонтьев И. Л.)
Жорж (Г. М. Чехов) 256.

Закорюкин Н. А. — 78.
Зембулатов В. И. — врач. 57, 71.
Зубов Н. Н. — артист. 181.

Иван — работник. 215.
Иваненко А. И. 117, 151, 232.
Иванов-Козельский М. Н. — артист. 172.

Икскуль — баронесса. 202.
Ипатьева А. А. 116.
Ираклий — иеромонах. 201, 202.

Кальметт Гастон. 188.
Капнист П. А. — граф. 148.
Карелин — профессор. 69.
Киселев А. С. 130, 168.
Киселев П. Д. — гр., министр. 130.
Киселева М. В. 130.
Киселевы Саша и Сережа. 130.
Китайский — свящ. 36.
Кичеев Н. П. — журналист. 87, 88.
Кичеев П. И. — журналист. 168.
Кланг И. И. — издатель. 101—103.
Ковалевский М. М. — профессор. 148, 249, 250.
Коломнин А. П. — адвокат. 27.
Кольридж. 107.
Кони А. Ф. — сенатор. 162, 163.
Коробов Н. И. — врач. 72.
Корнфельд Герман — издатель. 81.
Короленко В. Г. — писатель. 157, 195, 288, 293.
Корш Ф. А. — антрепренер. 166—168, 171 — 174.
Кошева Б. Э. — артистка. 173.
Красовская — артистка. 173.
Крашевский И. — писатель. 82.
Крылов В. А. — драматург. 168.
Кувшинников Д. П. — врач. 143, 144, 145, 198.
Кувшинникова С. П. — художница. 128, 143.
Куманин Ф. А. — издатель. 190.
Кумская А. А. 53.
Куприн А. И. — писатель. 254.
Курепин А. Д — журналист. 86, 105.
Куркин П. И. — врач. 232.
Кшесинская — балерина. 188.

Левитан И. И. — художник. 128, 140—146, 184, 207.
Левкеева — артистка. 245.
Легра Жюль. 241.
Лейкин Н. А. — писатель. 92, 186, 219.
Ленский А. П — артист. 184, 185.
Лентовский М. В. — антрепренер. 247.
Леонтьев И. Л. — писатель. 169, 170.
Лесков Н. С. — писатель. 189.
Лидия Федоровна — учительница. 156.
Лика (см. Мизинова Л. С.)
Линтварева Наталья Михайловна. 210, 231.
Линтваревы. 153—156.
Липскеров А. Я. — издатель. 104.

Маевский Б. И. — полковник. 113.

Макаров К. И. — художник. 76.
Максимилиана — принцесса. 23.
Малаксиано. 40.
Малкиель. 172.
Малышев В. П. 74, 75.
Маркевич Б. М. — писатель. 138, 139, 140.
Маркс А. Ф. — издатель. 90.
Марлинский (А. Бестужев) — писатель 22, 216.
Мартынова — актриса. 173.
Марья Доримедонтовна (Марьюшка). 216, 253—254.
Менелик — негус. 123.
Меньшиков М. О. — журналист. 230, 231.
Мизинова Л. С. («прекрасная Лика»). 136, 183, 184, 190, 192, 207, 223, 225, 226, 233.
Микешка. 139.
Милан Обренович IV — сербский король. 161.
Миролюбов В. С. 257.
М. Н. Г. 180.
Мочалов П. С. — артист. 186.
Муравьев Н. В. — прокурор 149, 150.
Мусин-Пушкина Даша (Д. М.). 136.

Неаполитанский. 123.
Немирович-Данченко В. И. 249.
Невежин П. М. — драматург. 171.
Озерецкий — адвокат. 81, 82.
Остроумов — профессор. 108.
Островский А. Н. — драматург. 193, 194, 195.
Островский М. Н. — министр. 194.
Островский П. Н. 193.

Павлов А. С. — профессор. 150.
Павлов — педель. 148.
Павловский И. Я. — журналист. 39.
Паисий — иеромонах. 121.
Пальмин Л. И. — поэт. 90.
Панова Г. В. — балерина. 176, 177.
Персидский — врач. 129.
Писарев М. И. — артист. 172.
Платов — атаман. 31.
Плещеев А. Н. — поэт. 154—157, 193.
Победоносцев К. П. 149.
Покровский Ф. П. — протоиерей 26, 27.
Поленов В. Д. — художник. 142.
Попудогло Ф. Ф. — литератор. 87, 88, 89.
Потапенко И. Н. — писатель. 184, 221, 223—226, 249.
Пушкарев Н. Л. — журналист. 105, 108.

Рожественский З. П. — адмирал. 238.

Розанов П. Г. – врач. 124.
Рощин-Инсаров – артист. 180.
Рыбчинская Н. Д. – артистка. 173.
Рыков – директор банка. 181.

Саблин М. А. 192.
Савельев Д. Т. – врач. 71.
Савина М. Г. – артистка. 244.
Савич И. Д. 42.
Сальвини – трагик. 133.
Сарду В. 174.
Светлов Н. В. – артист. 173.
Свободин П. М. – артист. 158, 163, 164–166.
Селецкий О. И. 81.
Семашко М. Р. – виолончелист. 151, 156.
Сергеенко П. А. – писатель. 90, 221.
Сиротинин В. Н. – врач. 120.
Скрябин А. С. – композитор. 125, 126.
Смагины. 176.
Собинина Е. Н. – врач. 128.
Соболевский В. М. 249.
Соловцов Н. Н. – артист. 179.
Солонин – артист. 173.
Спенглер Н. Э. – инженер. 126.
Станиславский К. С. – артист. 254.
Степанов А. С. – художник. 128.
Стружкин К. П. – актер и поэт. 81.
Суворин А. С. – издатель. 136, 158 – 162, 164, 188, 206, 210, 239, 249, 265, 278.
Суворина А. И. 137.
Сумбатов-Южин А. И. артист. 171, 185, 249.
Сытин И. Д. – издатель. 89, 111, 216.

Таубер Д. С. – врач. 120.
Телешов Н. Д. – писатель. 101.
Тимофеев В. Ф. – профессор. 166.
Тихонов В. А. – драматург. 169.
Толоконниковы С. и А. 240.
Толоконников И. Т. 240.
Трефолев Л. Н. – поэт. 243, 244, 245.
Тышко Э. И. 114, 115.
Тютюнник В. С. – певец. 151.

Усатов – певец. 252.
Успенский С. И. – врач. 123, 128.
Уткина Л. Н. – издательница. 86.

Федотова Г. Н. – артистка. 171.
Фердинанд Кобургский. 27.
Фрол – работник. 215.

Хелиус. 247.

Цветаев М. М. – врач. 121–123.

Цуриков — фабрикант. 113.

Чайковский П. И. — композитор. 133, 134, 135, 184.
Чертков В. Г. 30.
Чехов Е. М. 30, 42, 48.
Чехов П. Е. 28, 29, 30, 34, 44 45, 46, 47, 61,62, 64, 215, 251.
Чехов А. П. (А. Седой). 36, 47, 74, 80.
Чехов Н. П. — художник. 37, 47—50, 70, 78, 83, 84, 87, 111, 176.
Чехов И. П. 38, 50, 74, 85, 100, 112, 129, 141, 256.
Чехова Евгения Яковлевна. 26, 29, 32, 34, 36, 41, 47, 72. 113, 150, 155, 201, 223, 257.
Чехова Мария Павловна. 37, 44, 55, 62. 69, 113, 130, 131, 168, 183, 198, 212, 219, 246, 251, 256.
Чехов Митрофан Е. 21 — 26, 234.
Чехов Андрей (1586 года). 31.
Чехов М. М. 68, 69.
Чириков Е. Н. — писатель. 254.
Чичагов Н. — художник. 90.
Чупров А. И. — профессор. 192.
Шаврова Е. М. — писательница. 178.
Шаповалов Л. Н. — архитектор. 252.
Шарков, о. Алексей. 35.
Шехтель Ф. О. — академик-архит. 70, 246, 247, 248.
Шиловская М. В. — певица. 133.
Шиловский К. С. — артист. 174.
Шкляревский — писатель. 106.
Шостаковский П. А. — дирижер. 84, 117, 118.
Щеглов Жан — драматург. 169, 170.
Щепкина-Куперник Т. Л. — писательница. 145, 190, 191.
Щепкин М. С. — артист. 186.
Щербина. 61.

Эберле В. А. (Варя) — певица. 136.

Юношева Е. И. 70.

Яворская Л. Б. артистка. 191, 192.
Якоби В. И. — художник. 249.
Яковлев М. П. — врач. 120, 128.
Янов А. С. — художник. 80, 126, 127, 173.
Яшеньки. 127, 128.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Дом в Таганроге, где родился А. П. Чехов 21
Лестница к морю в Таганроге 38
Вид на реку Истру близ Вознесенска 60
Тихая заводь на Луке, любимое место ловли рыбы А. П. Чеховым 86
Пруд в Мелихове 112
Флигель в Мелихове, где написана А. П. Чеховым «Чайка» 147
Сад в Мелихове 175
А. П. Чехов в саду на даче в Ялте 197
Дача А. П. Чехова в Ялте 211
Кабинет А. П. Чехова в Ялте 236

Вкладные листы

А. П. Чехов в Ялте . . . . . Фронтиспис.
А. П. Чехов в Мелихове . . . . . 150 — 151

СОДЕРЖАНИЕ

М. П. Сокольников. — М. П. Чехов и его мемуары. 5

Глава первая

Наш дядя Митрофан Егорович. — Случай в дворцовом парке. — Протоиерей Покровский и водевиль с болгарской звездой. — Отец Павел Егорович. — Деды и прадеды по отцовской и материнской линии. — Легенда дяди Митрофана о нашем «чешском» происхождении. — Бомбардировка Таганрога английской эскадрой. — Братья Александр (литератор А. Седой) и Николай (художник) 21

Глава вторая

В Таганроге. — Наши соседи. — Экзекуции на Митрофаньевской площади. — Похищение девушек для турецких гаремов. — Антоша и Ираида Савич. — Переезд в собственный дом. — Наше образование. — Неудачное учение в греческой школе. — Домашние досуги. — Как шла торговля у отца. — Путешествие в Криничку. — Домашние спектакли. — Болезнь Антоши. — Отъезд старших братьев в Москву. — Отнятие дома. — Антон один в Таганроге. — Поездки в имения Кравцова и Зембулатова. — Посещения театра. — Чтение. — Издание рукописного журнала «Заика». — Эпизод у одинокого колодца по рассказу Суворина 38

Глава третья.

Мы переезжаем в Москву. — Первые впечатления от столицы. — Письма Антона из Таган-

рога. — Мое поступление в гимназию. — Приезд Антона. — Учение сестры на курсах Герье. — Наша бедность. — Двенадцать квартир за три года. — 1879 год. — Антон поступает в университет. — Наши нахлебники. — Работа по поднятию материального благополучия семьи. — Первые выступления Антона в печати. — Дружба Николая с М. М. Дюковским. — «Шуйские купчики» в Москве. — Разрыв Антона с «Стрекозой». — Сотрудничество братьев Чеховых в «Зрителе». — Вс. Вас. Давыдов. — В редакции «Зрителя». — История с «Королем и Бондаривной». — Рисунки Николая. — А. М. Дмитриев (барон Галкин) . . .

Глава четвертая

«Будильник» и его руководители. — Н. П. Кичеев и Ф. Ф. Попудогло. — Несколько слов о М. Евстигнееве. — П. А. Сергеенко. — Лиодор Иванович Пальмин. — Встреча Антона с Лейкиным. — «Дядя Гиляй» (В. А. Гиляровский) и его причуды. — На свадьбе у И. А. Белоусова. — Журнал «Москва» И. И. Кланга. — «Медицинское свидетельство» для получения гонораров брату. — «Новости дня» А. Я. Липскерова. — Происхождение «Ненужной победы». Н. Л. Пушкарев. — «Свет и тени». — Пушкаревская «Европейская библиотека». — Мое участие в «Мирском толке». — «С Гатцуком знаком, с Прудоном не согласен и при часах ходит». — Предприятие Пушкарева. — На сеансе гипнотизера Германа. — Издатели братья М. и Е. Вернеры и их «Сверчок» . . . . . .

Глава пятая

В Воскресенске у брата Ивана. — «Кукуевская катастрофа» и реприманд с Антоном. — П. А. Шостаковский. — «Сказки Мельпомены» на прилавках детской литературы. — В Чикине у врача П. А. Архангельского. — Источники чеховских сюжетов. — История с «атаманом» Ашиновым. — Звенигородские впечатления 1884 года в сюжетах Чехова. — Антон Павлович и доктор П. Г. Розанов. — Встреча с Скрябиным. — Первые пациенты брата. — Блюстители звенигородского порядка. —

Близость к семейству Киселевых. — «Бабкинское» в творчестве Чехова. — В мире литературных и музыкальных впечатлений. — М. В. Бегичева. — Киселева и предложение Чайковского. — Замысел «Бэлы» с либретто брата.—Приезд Григоровича. — Проказы Чехова и Левитана. — Маркевич в Бабкине. — Сотрудничество Левитана с братом Николаем. — Романы Левитана. — Детали для сюжета «Чайка» 112

Глава шестая

Московский университет под новым уставом. — Журфиксы у Антона с обитателями «Медвежьих номеров»—На даче у Линтваревых в 1888 году.— Плещеев в гостях у Антона. — Рассказ Плещеева о казни петрашевцев. — Баранцевич, Суворин и П. М. Свободин (Поль-Матьяс) на Луке. — Из рассказов Суворина о своей биографии. — Мое знакомство с А. Ф. Кони. — Дружба брата с Свободиным. — Антон сокращает «Графа Монте-Кристо». — Чтение Чеховым «Рассказа моего пациента». — На спектакле «Иванова» у Корша. — Предложение Виктора Крылова (Александрова) о соавторстве с Чеховым. — Иван Щеглов (Леонтьев). Кличка Чехова «Потемкин». — Знакомство Антона с Невежиным. — Мадам Бренко и вешалка Корша. — Открытие и успех Коршевского театра 147

Глава седьмая

1889 год. — Снова на Луке. — Смерть брата Николая. — Антон скитается в Одессе и Ялте. — Встреча с Шавровыми. Мои занятия иностранными языками.—Дружба Антона Павловича с Е. М. Шавровой. — Как ставился «Леший». — Дело скопинского банка Рыкова. — Первое кровохарканье брата. — «Прекрасная Лика». — Визиты в дом Корнеева на Кудринской-Садовой. — А. П. Ленский. — Немного о М. Н. Ермоловой. — В. Н. Давыдов читает у нас «Власть тьмы». — Его «отсебятины» в «Калхасе». — Н. А. Лейкин. — Банкет в честь французского президента Лубе. — Лесков у Чехова. — Щепкина - Куперник. — Отзывчивость

А. И. Чупрова. — П. Н. Островский. — Эпизод из отношений А. Н. Островского с братом-министром. — Посещение Короленко 175

Глава восьмая

Как осуществлялась поездка Антона Павловича на Сахалин. — Возвращение. — В Туле на вокзале. — Бурят-иеромонах и мангусы. — Чехов в Европе. — На даче под Алексином. — Жизнь в Богимове. — В работе над «Дуэлью». — Споры А. П. с Вагнером на тему о вырождении 197

Глава девятая

Покупка Мелихова. — Дневник отца о мелиховской жизни. — Медовый месяц землевладения Чеховых. — Чеховское «герцогство». — А. П. — мелиховский врач. — «Водяной» вопрос. — Зимой 1893 года. — Потапенко в Мелихове. — «Валахская легенда» Брага и история создания «Черного монаха». — Наплыв гостей. — Приезд М. О. Меньшикова. — Негласный надзор за Антоном Павловичем. — Картограмма доктора Куркина. — Иван Германович Витте. — Новые постройки. — Флигель, где писалась «Чайка». — Сотский Бавыкинского волостного правления 211

Глава десятая

Голодный 1892 год. Общественная работа А. П. по помощи голодающим. — Чехов в Нижнем-Новгороде. — Заведывание холерным участком. — Визиты А. П. за помощью «к высокопоставленным». — Жюль Легра в гостях у Чехова. — Осознание А. П. серьезности своей болезни. — На ярославских торжествах. — Торжественный спектакль «Ревизора». — Чествование Л. Н. Трефолева. — Первое представление «Чайки» в Петербурге. — Пожертвование библиотеки А. П. Таганрогу. — Архитектор-художник Шехтель. — Участие Чехова в народной переписи. — Мелиховские впечатления в творчестве А. П. — Проект организации Народного дома. — Припадок в «Эрмитаже». — Чехов в Ницце и Париже. — Смерть отца. — Антон Павлович в Ялте. — Постройка

дачи. — Избрание А. П. в почетные академики. — Приезд в Крым Художественного театра. — Женитьба Антона Павловича. — Смерть и похороны. 236

Приложения

Комментарии 259
Указатель имен 295
Список иллюстраций 301

Редактор А. Н. Тихонов. Техн. ред. Г. Л. Гилес. Сдана в набор 31/VII-32 г. Подпис. к печати 10/III-1933 г. Индекс А-2. Издат. № 44. Уполномочен. Главлита № Б-16362. Тираж 5300. Бумага 74×105. Печатных листов $9^{3}/_{4}$. Тип. знаков в 1 печ. л. 55000. Типография «Печатный Двор». Ленинград. Гатчинская, 26.

Цена 5 руб.
Переплет 2 руб.